

ПОСЛЕ СДЕЛАННОГО

Повесть

Перед купальем выдалось три изнурительно знойных дня, когда город, в котором обитали герои этой криминальной истории, выжигало яркое, как взрыв, солнце, и большой город стал задыхаться в духоте, и людям его перестало хватать воздуха и прохлады. Потому приятели Децкого Юрия Ивановича без уговоров приняли приглашение провести выходные дни у него на даче; это тем более было занятно, что обещалось развлечение необычное — настоящий купальский костер, за который брался отвечать брат Децкого — знаток старых народных обрядов. Съезжаться решили в любой час — как кому удобнее, но не позже полудня, чтобы весь день провести у реки.

Сами Децкие отъезжали на дачу в пятницу. В седьмом часу Юрий Иванович вывел из гаража серые свои «Жигули», и скоро он сам, жена и сын стали сносить в машину сумки с припасами.

Отъездную их суету наблюдал вор. Он прятался в соседнем доме на лестничной площадке третьего этажа. Наконец Децкие погрузились, из выхлопной трубы выпорхнул клуб сизого дыма, машина покатила к воротам, задержалась на миг, пропуская пешеходов, и исчезла. Вор присел на подоконник и закурил. Открывался ему квадратный небольшой двор — над ним выжжено до белесости было небо, внизу деревья чахли в тепловом обмороке, пусто было во дворе. Неспешно докурив сигарету, вор спустился во двор, переулком вышел на людную улицу и отыскал телефон-автомат без выбитых стекол. Плотнo закрыв дверь, он позвонил в сберкассy и, назвавшись вкладчиком Децким, объявил заведующей, что завтра ему потребуется большая сумма и что он просит эту заявку учесть.

Вор появился возле дома Децких наутро, не очень рано, но и не очень поздно, около шести часов. Поднявшись на четвертый этаж, вор трижды, с большими перерывами, нажимал кнопку звонка. Квартира, как он и ожидал, безмолвствовала; тогда вор достал из кармана ключи и открыл оба замка. В прихожей он снял туфли и, проявляя хорошее

знание квартиры, направился в спальню. Здесь вор подошел к трехстворчатому гардеробу, отворил левую дверку и выставил на кровать бельевые ящики. Ящиков было четыре. Затем с чрезвычайной аккуратностью вор начал перебирать белье — каждую простыню, или соколку, или салфетку вынимал отдельно и возвращал назад в прежний порядок. Эта работа заняла у него сорок минут, но того, что он искал, в ящиках не оказалось. Пасмурнев, вор взялся за чемодан, стоявший в плательном отделении под одеждой. Чемодан был немецкого производства огромный, толстый, и бронзовые, крепкие его замки были заперты на ключ; открыть их острием ножа не удавалось. Вор решил найти ключи и сначала напрасно обшарил карманы всех одежд, висевших в гардеробе; посоображав, он перенес к шкафу от трельяжа шелковый пуфик, встал на него и, глянув, облегченно улыбнулся — ключик лежал наверху, покрытый пылью. Поддев ключ острием булавки, вор сдул с него пыль и открыл замки. Крышка сама поднялась; вор увидел ряды дорогих отрезков и все выложил на пол, под ними лежал семейный архив. Перебирая бумаги, он довольно скоро отыскал то, ради чего рисковал, — сберкнижку. Еще здесь была толстая пачка облигаций, стянутая аптекарской резинкой; вор без раздумий сунул ее себе в карман.

Весело ухмыляясь, вор прошел на кухню, включил газ и поставил на огонь большую джезве. В одном из навесных ящиков кухонной гарнитуры он взял банку с молотым «арабика», и когда закипела вода, выключил газ и всыпал в джезве четыре столовые ложки темно-коричневого порошка. Попивая крепчайшее свое варево, вор долго изучал записи в сберегательной книжке, в особенности даты. Затем вор сходил в гостиную, где извлек из секретера шкатулку с документами Децкого. Он взял паспорт, военный и охотничий билеты и вернулся на кухню. Достав из нагрудного кармана рубахи блокнотик и ручку, вор витиевато расписался на чистом листке — "Ю.Децкий". Тщательное сличение подделки и подлинника на всех трех документах доставило ему удовлетворение — подписи различались лишь крохотной завитушкой, обозначающей знак краткого «и». Вор расписался в блокнотике вторично — теперь уже с завитушкой — и вновь подверг подписи сравнению. Затем вор испил вторую чашку кофе, вымыл посуду, вернул в шкаф кофейную пачку, тряпкой собрал просеянную пыль, вытер стол и пошел в спальню. Сев к трельяжу, вор раскрыл свой «дипломат» и выложил на столик фотографию Децкого и полиэтиленовый пакет с гримом. Через несколько минут на чисто выбритом его лице появились в соответствии со снимком шляхетные усики и клинообразная бородка. Затем вор втер в кожу жидкую пудру и надел импортные дымчатые очки. Затем он снял свой костюм, а надел повседневный костюм Децкого. В чужой одежде ему было неловко, и вор, обвыкая, пустился обходить комнаты, приседал, садился на стулья и в кресла или

подолгу стоял перед зеркалом в прихожей, произнося разные речи и следя, как движутся при этом наклеенные усы и борода.

В пять минут десятого вор подошел к телефону и набрал номер сберегательной кассы.

— Доброе утро! — приветливо сказал он. — Вы работаете сегодня?

— Разумеется! — удивились в сберкассе.

— Решил уточнить, — объяснил вор, — вдруг по случаю жары — закрыто.

— К сожалению — нет, — с унынием ответили в сберкассе.

— Сочувствую! — сказал вор и повесил трубку.

Положив в карман пиджака паспорт и сберкнижку Децкого, вор накрылся Децкого же модной шляпой из простеганного хаки и приоткрыл дверь. На лестнице было тихо. Вор послушал тишину, шагнул из квартиры и защелкнул замок.

Через четверть часа он входил в сберкассу, которой пользовался Децкий. К его удивлению и досаде, к окошечку контролера стояла достаточная очередь. Пересилив нахлынувшую внезапно робость, вор спросил последнего и сел заполнять расходный ордер.

Ждать пришлось долго, вор истомился напряжением и начал потеть.

— Пекло! — сказала ему соседка. — Как в Средней Азии.

Вор принужденно кивнул.

— У нас вчера сотрудник, совсем еще молодой мужчина — сорок лет, рухнул прямо на улице. Инсульт.

— Нетрудно, — согласился вор.

— Спасибо милиционеру — вызвал "скорую помощь". Знаете, как народ относится: лежит — значит, пьяный.

Слушая болтунью, вор оценивал обстановку. Впереди стояли подряд трое мужчин, но они, по его расчету, должны были выйти из кассы прежде, чем он подаст ордер на операции. Позади его очередь составила сплошь из женщин; в случае неудачи задержать его им стало бы не по силам. Это вора успокаивало.

Наконец он оказался перед окошком, поздоровался, подал сберкнижку и ордер контролеру и сказал:

— Моя фамилия — Децкий. Я вчера звонил заведующей.

Паспорт Децкого вор демонстративно держал в руке. Глянув на ордер, контролер бросила на вора удивленный взгляд, но вслух ничего не сказала. Тогда вор положил паспорт на барьер, снял дымчатые очки и стал протирать платком вспотевшие веки. Контролер сличала подписи на ордере и контрольной карточке. Вор вдруг заметил, что у

женщины, от доверия или недоверия которой зависела его удача, красивые шея и плечи, и внимание его устремилось за низкий вырез сарафана — на не тронутую загаром грудь. Вор играл и вложил в свое любопытство силу; контролер оказалась женщиной чуткой и поспешила обозначить свое целомудрие запретным прикосновением к платью. Вор улыбнулся. Словно бы в ответ на нескромность богатого вкладчика она вернула ордер и сказала с неудовольствием:

— Распишитесь еще раз!

— Где? — спросил вор.

— Все равно, — ответила контролер. — Можно на обороте.

Вор лихо расписался, добавив пропущенный в первой подписи завиток.

Затем вор перешел к кассе. Здесь сидела пожилая, строгая дама, неторопливая, как бывают неторопливы все кассирши на земле. Проверив записи, она одну за другой подала вору четыре пачки двадцатипятирублевых и две пачки десятками. Вор спрятал деньги и книжку в «дипломат», сказал "до свидания" и вышел на улицу.

Через четверть часа он вновь был в квартире Децких; теперь все действия его имели обратную последовательность. Он вернул сберкнижку в чемодан, аккуратно уложил сверху отрезы, закрыл замки, положил ключ на шкаф, повесил на плечики в прихожей костюм Децкого, оделся в свое, освободился от усов и бородки, разгладил покрывала на кроватях, своим носовым платком вытер туалетный столик, спрятал паспорт и билеты Децкого в шкатулку, а шкатулку — в секретер и здесь тоже прошелся платком по глянцевой стенке. Затем вор еще раз оглядел квартиру и, убедившись, что никаких следов его пребывания нет, обулся и стал у дверей. Потом приоткрыл дверь. По лестнице кто-то шел, и трудно было понять куда — вверх или вниз. Довольно скоро шаги загасли; вор выждал несколько минут, шагнул на лестничную площадку и остолбенел — возле перил, опираясь на бамбуковую трость, отдыхала старушка — сухонькая, вся уже небесная, венец выбеленных жизнью волос сиял вокруг древнего ее лица, как нимб, и только в глазах за толстыми стеклами очков светился еще простодушный интерес к людям. Вор машинально отшатнулся, но в следующий миг воля его напряглась — он захлопнул дверь и вставил ключ в щель замка. Однако флюиды той злобы, которой налил вор, наткнувшись на нежеланного свидетеля, почувствовались старушкой, она испугалась и засеменяла к дверям противоположной квартиры там она жила. Тогда вор повернулся, отступил к стене и без раздумий вонзил кулак в хрупкую, как бумажный пепел, плоть.

Спустя минуту он быстро шел по улице, а повернув за угол, стал голосовать всем проезжающим легковушкам.

Было пятнадцать минут одиннадцатого.

В это время Децкий вместе с сыном Сашей тринадцати лет сбивали в саду из листа старой жести мангал. Никто из гостей еще не прибыл, но и было не время для тех, кто ехал электричкой, — она прибывала в Игнатово в одиннадцать, а дача стояла от станции в трех верстах — полчаса хода лесным проселком. Нельзя сказать, что Юрию Ивановичу не терпелось увидеть приятелей для радости; частое поглядывание его на дорогу объяснялось элементарным расчетом — чем раньше прибыли бы гости, тем меньше необходимой для общего обеда работы оставалось бы ему и жене. А главное, стало бы веселее, потому что все утро промучала Децкого удручающая тоска; не было никаких причин тосковать, тоска завелась во сне, он проснулся в шесть часов с тяжелым грузом на душе, с готовым, глубинным унынием. И все утро, поливая из шланга гряды, таская с сыном доски на поляну в сад, где решили ставить стол, наполняя водой бочку душевого устройства, сгибая ржавый лист в короб и делая другие разные дела, Децкий не мог избавиться от тугого комка под сердцем, от неудовольствия собой, женой, утром, предстоящим пикником, вообще, всем на свете. Приходило несколько раз необъяснимое желание сесть в машину и уехать домой, а там в тишине и прохладе гостиной лежать на тахте без движения и без забот. Децкий даже расспросил жену, выключила ли она газ, закрыла ли краны, не забыла ли отключить утюг, и на все вопросы получил утвердительный ответ. Непокойствие души тяготило, требовало объяснений, и Децкий объяснил его действием солнечной активности, реакцией организма на непривычные зной и духоту последней недели.

Он дважды становился под душ; холодная вода, действительно, оживляла тело, но душевное угнетение нисколько не ослабилось. Часов около десяти Децкий испытал пик беспокойства — вдруг все стало противно: дача, солнце, зелень, прошлая и будущая жизнь, а особенно гадок был стук топора на соседнем участке, где сосед — доктор-геронтолог — строил сарайчик для сушки трав. Децкий лег под дерево и пролежал бог знает сколько в полном отсутствии желаний и сил.

Его отпустило — словно и вовсе не тосковал, и мир вновь исполнился света и удовольствий, когда появились гости. Они прибыли толпой; оказалось, что все ехали поездом, никто не захотел ехать машиной, чтобы не бояться лишней чарки. Не было среди них только брата, но не успели еще все рассочиться по участку, как прикатил и он, восседая за рулем новенького ярко-оранжевого «Запорожца». С ним была незнакомая Децкому особа — худая, бледная, малокровная, будто год проведшая в подземелье на хлебе и воде. Децкий внутренне поразился, что существуют еще столь невзрачные дамы и

что брат умеет их находить. Это было тем более удивительно, что Адам обещал приехать с дочкой.

Началось знакомство, суета, понесли в дом сумки — каждый что-либо привез и отдавал Ванде — жене Децкого — бутылки и продукты; сразу же стали переодеваться в купальные костюмы, и тут же созрело решение идти к воде, а возню с обедом отнести на вечер, когда спадет жара. Дачу закрыли, и компания снялась в поход. За воротами к ним присоединился сосед-доктор низенький, гладенький, толстенький, чрезвычайно подвижный. Децкий не без иронии представил его: врач-геронтолог Глинский — энтузиаст лечения голодом. Доктор немедленно стал объектом женского любопытства. В лесу компания разбилась на группки: впереди бежали дети, затем, как три богатыря, шли Данила Григорьевич, Петр Петрович и очередной Катькин любовник Олег Михайлович, затем парюю шли Ванда и Виктор Петрович, затем маленьким стадом — Глинский и жены Данилы, Петра и Виктора, а вплотную к ним — Катька и подруга брата, оказавшаяся, как и подсказало Децкому чутье, научным сотрудником, специалистом по древним рукописям. Затем шел не шел, полз не полз — тащился уже не трезвый, еще не пьяный, насквозь болезненный и унылый Павлуша. Замыкали колонну братья Децкие. Беседа их была отрывистой, потому что еще в детстве научились понимать друг друга без слов: стоило одному подумать, как второй мог безошибочно назвать эту мысль. Децкий и ограничился двумя вопросами: каково жизненное занятие спутницы Адама и почему он не приехал пораньше. Что ответил Адам на первый вопрос, читателю уже известно, а задержку свою он объяснил свинством со стороны бывшей жены, которая, пообещав отпустить с ним на выходные дни дочь, вдруг решение свое переменяла. Одному ехать не хотелось, говорил брат, позвонил Алле; пока она собралась — уже и полдень. Словом, так. Децкий удовлетворился и замолчал.

Поглядывая на брата, он испытывал к нему жалость. Как-то уже и не верилось, что в молодые годы были одинаково рослые, широкие в плечах, узкие в бедрах, легкие на подъем, ловкие в деле. А сейчас даже близкий родственник усомнился бы, что они родились с разницей в полчаса. Сидение над книгами ссутило Адама, книжная пыль состарила лицо, а несчастливое супружество заразило флегмой. Пять лет назад жена потребовала развод, а точнее, бросила его, утомившись, как объявила она всем знакомым, от жизни с бездарным идиотом, не способным заработать пятерку на пару чулок. Адам был изгнан из квартиры и с тех пор жил на частной, а она соединилась с отставным полковником. Но через полгода к брату пришла наконец удача — он защитил диссертацию, оклад его удвоился, потом утроился, он издал первую книгу, и жена, верно, пожалела о разрыве, но было поздно. Не одобряя ее поступка, Децкий, однако, находил

его естественным: десять лет ожидать журавля в небе, не иметь лишнего рубля, отказывать себе в тряпье и полноценном отдыхе, из-за этого страдать и стариться — сильное испытание, и она была вправа. Тем более что занятие брата не располагало верить в успех: какие-то мифы, легенды, язычество, забытые пращурами боги, всякая такая чепуха. И ради этого Адам день в день, без выходных и праздников, тягался в библиотеку и, не видя света, горбел за столом, как галерный раб. Только сейчас и поднялся. Хотя и книги, и большой окладик тоже не принесли богатства, если судить по «Запорожцу». Толковый человек мог бы заработать такую сумму в течение года, а то и месяца, не изнуряя себя изучением миллиона книжек. Децкий и сам не верил в братнин успех и искренне удивлялся, когда Адам в очередной раз приносил ему свежеизданную книгу, всегда с надписью: "Брату — с любовью — автор". Две недели назад Децкий получил уже четвертую — опять о славянских богах, о целой их толпе. Сама эта тема поразила Децкого — кому, зачем, какая польза? Инженерный его ум не находил применения такому знанию. Оно было мертвое, ненужное, пустое. Следовало, конечно, прочесть, потому что все же брат настроил, и он брался несколько раз, но все эти Коляды, Ярилы, Купалы, Перуны, Лели, Знич, Вербы, и лешие, и домовые, и водяные, все эти порождения простодушных предков не вызывали отклика; зевалось уже на третьей странице, на пятой Децкого охватывал глубокий, как наркоз, сон. Никто в них не верил, никто, кроме брата и десятка таких же чудаков, о них не знал, они никому не требовались, писать о них, думал Децкий, было забавой, игрой.

Меж тем Катька, наслушавшись доктора Глинского, шла теперь с Павлом. Децкий слышал, как она говорила:

— А мы с Олегом Михайловичем поехали утром на базар. Не поверишь, Паша, за дрянные абрикосишки просят восемь рублей. И очередь — до ворот. Час угрохали, чуть на поезд не опоздали, даже билеты не успели взять.

— Сэкономили, — скучно ответил Павел. — Все к добру.

Децкий сразу кинул взгляд вперед, на Олега Михайловича, который вещал что-то Даниле и Петру. По жестам его Децкий понял, что он хвалится своей коллекцией оружия. Децкий эту коллекцию однажды осматривал, и сама по себе она интереса в нем не пробудила. Но вот денежный ее эквивалент волновал. Децкий вскоре после осмотра поинтересовался у одного знакомого, о котором знал, что он приторговывает книгами, марками и значками, где можно раздобыть две старые сабли для украшения квартиры и в какую цену они обойдутся. Тому потребовалась неделя, чтобы найти продавца, запросившего, к удивлению Децкого, за свой товар круглую сумму — пятьсот рублей, причем сабли были самые обычные, отечественные, входившие, что Децкий хорошо

помнил, в экипировку железнодорожной милиции. У Олега Михайловича же на стенах двухкомнатной квартиры такие сабельки висели густо, но помимо них имелись и явно редкие штуки — был, например, индийский кинжал с рукояткой, как у наручного кастета, была пара сабель шестнадцатого века, были парадные шпаги с камнями, с позолотой, были дуэльные кинжалы с сетчатой гардой. Не зная точной цены, Децкий чувствовал, что стоят эти вещички дорого, и потому причислял Олега Михайловича к людям необычным, в том, разумеется, смысле, что он располагал средствами — мог продавать, мог покупать, знал продавцов, покупателей и посредников, имел свою сферу жизни. Умно, уважаемо, без чудачеств, в отличие от дела брата, выглядело дело Олега Михайловича, не было игрой, сама стоимость коллекции свидетельствовала, что это не игра. И длительная привязанность к нему Катьки подсказывала Децкому, что Олег Михайлович вовсе не глупый романтик, не рядовой сборщик старья, какие есть сейчас в каждом подъезде, а человек напряженной жизни. Децкий сознательно и пригласил Катьку вместе с любовником, чтобы приглядеться к нему, сблизить отношения, заприятельствовать. Даже по внешним данным, не зная силы мозгов, думал Децкий, видно, что Олег Михайлович — не дурак: следит за собой, натренирован, уважает тело. Не то что Адам или его приятельница, специалистка по истлевшим запискам. Белые, чахлые, сутулые, не люди чудища. Вот и Паша такой же становится монстр; тех книги губят, его водочка. И живут, и считаются умными, подумал Децкий, а жить не умеют. Всем наделены, одним обделены — этаким маленьким центриком, который заведует радостями плоти. Атрофировался центрик, лень руками пошевелить. Кто поверит теперь, что Адам занимался борьбой, выступал, побеждал. Вот Данила Григорьевич бегаёт по утрам и ходит в бассейн, и жена его плавает круглый год, зимой в проруби купается; о Катьке можно подумать, что ей тридцать лет, а ведь сорок; и Петр Петрович — мышь складская — ходит в группу здоровья, гантельки держит; и он сам, Децкий, вечером не плюхается в кресло у телевизора, как Паша, а целый час в прихожей играет двухпудовой гирей, и каждый четверг — сауна, и зимой — лыжи, а сентябрь — в Планерском; Катька дважды ездит на юг: в мае все дела в сторону, бюллетень на десять дней и в Гагры покрыться загаром, а уж отпуск — это само собой. Все нормальные люди так живут.

Жизнь одна; на этом свете прошляпишь, на том не вернешь.

— Паша! — позвал Децкий.

Приятель и Катька остановились.

— А что Вера не приехала? — спросил Децкий, поравнявшись.

— Она на даче, — нехотя объяснил Павел, — вчера вечером уехала — дети там.

— Могу лишь позавидовать тебе, — улыбнулся Децкий. — Меня Ванда никогда не оставляет одного.

Улыбался Децкий неискренне — Пашин ответ его огорчил. Он означал, что вчера после работы Павлуша нажрался водки или «чернил», пришел домой пьяным, и свинский его вид довел Веру до слез. Какие говорились упреки, какие решительные меры обещались, вообразить было легко; Децкий вообразил и озлился на Павла. "Скотина! — подумал он. — Не хватало только, чтобы Верка пришла в профком: спасите семью, муж пьет, как грузчик, скоро по вытрезвителям пойдет". И так всем видно — алкаш, морда доказывает. Слабоволие это бесило Децкого. Уже не только после работы спешил Павлуша в ларек, но и в обед позволял. Приходилось закрывать его в кабинете, присматривать, отвозить домой. Не ко времени, некстати было Павлово пьянство. Ставилась под угрозу тайная идея Децкого протолкнуть Павлушу начальником во второй сборочный цех, а держал он ее в тайне потому, что решил уволиться. Объявить о своем решении сейчас никак не выходило. Прежде требовалось осуществить несколько дел, без которых увольнение не давало свободы и спокойствия; надо было вложить в уши главному инженеру и директору мысль о немедленном повышении Павла; перевести Петра Петровича со склада в отдел снабжения, что уже исполнялось и чему тот противился, и, наконец, вытолкнуть Данилу Григорьевича в магазин другого торга. И все это надо было проверить, оставаясь в тени, чтобы никто — ни Данила, ни Петька, ни Павлуша — не догадались, не учуяли, кем соткана нить интриги. Хоть Павел, не в пример Даниле и Петьке, от перемещения исключительно выигрывал, Децкий не проговорился ему о своих усилиях даже намеком, боясь преждевременной обиды и какой-либо глупой выходки. Все же семнадцать лет проработали бок о бок, вместе пришли на завод из института, спутаны одним делом, и вдруг узнать от товарища, что он рвет старые связи, уходит в иную жизнь, что в той, иной жизни он хочет быть сам по себе, конечно же, тяжело и больно. Но пришел такой час, куранты судьбы пробили: пора на другое поле, пора уходить; Децкий даже физически, инстинктом самосохранения, чувствовал крайнюю необходимость уволиться, но красиво уволиться, с гарантией, с разрывом всех цепей. К осени все рассыпется. Сегодня — прощальный сбор, дань сантиментам; он и созвал компанию полностью, чтобы в тайном удовольствии души отпраздновать свой исход. Вот все идут по дороге, отношения кажутся прочными, кажется, что так будет длиться до конца дней, а уже ничего нет, дело иссохло — он иссушил, дружбы окончены, и большинство тут чужие, не нужные один другому люди.

Децкий обнял Павла и Катьку за плечи, прижал к себе и сказал искренне и с весельем:

— Люблю я вас. Вы да Адам — мои единственные друзья!

Скоро пришли к реке и всю толпой, не медля, бросились в воду. Потом млели на солнце, опять сидели в воде, опять жарились, позировали парами, одиночно и всей группой перед Сашкой — тот осваивал фотоаппарат, опять лезли в реку — и так добрых четыре часа. Ванда и Катька удалились от общества и легли загорать голышом, пробудив в мужчинах остроумие. Специалистка по древним рукописям демонстрировала зарядку по системе йогов. Жена Данилы Григорьевича бегала трусцой. У детей был мяч, они гоняли его по лугу, и счастливый их смех привел к ним Олега Михайловича; затем Данила воткнул прутья и стал на ворота; возрожденный купанием Паша поставил вторые, Виктор Петрович возглавил детей, Адам соединился с коллекционером, Петра Петровича назначили быть "заворотным беком" — начался футбол. Только доктор Глинский не включился в суету — лег под кустом брюхом кверху, как перезрелый арбуз, и заснул. Поленился играть и Децкий — сидел на берегу, свесив ноги в воду, наблюдал своих гостей, особенно Данилу Григорьевича. Тот, удачно принимая или отбивая мяч, хвастливо хохотал. Децкого это забавляло — смех Данилы казался ему деланным.

В очередное общее купание он, выбрав момент, поинтересовался:

— Как жизнь, Данила Григорьевич?

— Живем, слава богу! — отозвался тот. — Только вот сука одна роет, — и взгляд его, заметил Децкий, коснулся Виктора Петровича.

— Под кого не роют, — сказал Децкий, словно бы и под него кто-то рыл.

— Аморалку шьют, — объяснил Данила Григорьевич.

Децкий улыбнулся:

— Такую беду — рукой отведу.

— Не скажи, брат, — возразил Данила, — похуже ревизии. Только и хожу объясняюсь.

— Брось ты переживать, — посочувствовал Децкий. — Ну что они тебя, казнят? Поставят на вид и забудут.

— Кабы так! — вздохнул Данила Григорьевич.

Децкому стало смешно; он, чтобы не выдать себя, поспешно окунулся, крикнул: "Догоняй!" — и поплыл к дальней излуине.

Состоявшийся разговор доставил ему утешение — с Данилою все шло как по маслу. Месяца два назад Децкий послал в райторг первую анонимку, подписав ее "группа продавцов магазина № 20 «Хозтовары». Письмо на двух листах изобличало безнравственную связь директора с кассиршей Ириной Лычковой, в чем виделось использование служебного положения для удовлетворения похоти. Все было правдой; о

романе Данилы Децкий знал со слов Катьки. Следующие два послания, наполненные выпадами в адрес райторга, который прикрывает блудника, пошли в горторг, и четвертое — недавно — в торг областной. Замысел удавался, а особая приятность состояла в том, что Данила Григорьевич, как Децкий и рассчитал, счел автором анонимок Виктора Петровича. Не подозревать его в таком свинстве было бы и глупо — тому светило занять освободившееся место. Виктор Петрович, со своей стороны, о чем три дня назад рассказала опять же всезнающая Катька, чувствуя подозрения директора, побожился перед ним, что свят, как Христос. Данила Григорьевич эту божбу вслух принял, но в душе уверился, что виновник неожиданных его бед именно хлюст, сволочь и карьерист Виктор Петрович. Неприязненные взгляды, которыми обменивались оба торговца, льстили самолюбию Децкого; все шло как должно, события и люди ему повиновались.

В шестом часу, когда солнце пошло на закат и зной сломился, Децкий призвал всех на дачу. Тут все дружно взялись готовить, и скоро последовал ужин, а точнее говоря, пир. Описывать, что пили и ели за тем столом, нет смысла — мы того не попробуем; все было редкостное, сплошь дефицит, прямо с базы, на которой работала жена Петра Петровича; но и другие имели знакомых с такими возможностями, только Адам привез какой-то мокрый окорок из магазина, который хоть и был подан, но остался нетронутым. «Гвоздем» пиршества стали, разумеется, настоящие, из базарной баранины, шашлыки, зажаренные Децким.

После ужина, а встали из-за стола, когда размежала день с ночью лишь пурпурная полоса заката, настал час действий и славы Адама. Из багажника своего «Запорожца» он извлек колесо от телеги и банку сосновой смолы. Всем было сказано набрать поленьев и двигаться к реке. Олег Михайлович нес сумку с выпивкой и легкой закуской, Виктор Петрович — лопату и топор. Счастливые дети по очереди катили колесо.

На лугу колесо надели на шест, украсили цветами, облили смолой и шест вкопали. Быстро сгущались сумерки, выходила полная луна, на темной половине неба засветились звезды. Всех охватило трепетное ожидание праздника. Наконец алое свечение на закате угасло, Адам разрешил детям зажечь костер. Чиркнули спички, маленькие огоньки коснулись хвороста, разбежались по каплям смолы внутрь костра и помчались по шесту наверх, к колесу — оно вспыхнуло, мощное пламя рванулось ввысь. Все стояли, слушая завораживающий жар огня. Вдруг Адам выступил вперед и сказал: "Вот послушайте старую песню. Ей тысяча лет". Он запел:

Сонейка, сонейка, рана усходзіш да іграючы,
Сонейка, сонейка, праючы, Купалу звелічаючы...

На песню возникли из темноты, словно спустились на свет костра с неба, две пожилые деревенские тетки, поздоровались, и вошли в круг, и стали вместе с Адамом петь:

У адным гародзе чырвона ружа,
У другім гародзе пахуча мята,
У трэцім гародзе зяленая рута...

Песня эта в три голоса пелась, пока не перегорел шест и не рухнуло в костер колесо. Тогда прихожие тетки так же незаметно, как явились, исчезли. "Купала! — крикнул Адам. — Возьми грехи!" — и прыгнул через костер. "И мои!" — попросил Данила Григорьевич, пролетая сквозь пламя. "Очистимся, Алик!" — обрадовалась Катька и толкнула в бок своего любовника. И все стали прыгать, и счастливый детский смех звенел над лугом. Только доктор Глинский счел за лучшее избежать контактов с плясавшим в костре божеством.

Потом все сели к костру, пошла по рукам, как требовали того обычай и желание, чарка. Дети жались к Адаму; он, поглядывая на часы, говорил им, что сейчас начинает расцветать цветок папоротника. Те знали сказку и начали проситься в лес; им разрешили, и скоро слышались в соснах их настороженные голоса. Децкий наклонился к Павлу и шутливо сказал: "Что, Павлуша, может, и нам поискать!" Приятель, однако, ответил всерьез: "Мы свое уже отыскали!" Децкий понял мрачный смысл его слов и промолчал, он думал иначе. Он думал, что судьба делается каждый день. Заснул, день прошедший умер, проснулся, как родился, — вновь стычка с жизнью, вновь оседлание судьбы; радостью каждодневного риска должен жить человек, думал Децкий, а вот так, однажды сорвав цветок, всю жизнь просидеть на готовом это за какие, скажите, достоинства? Коротка жизнь, но многое может дать умному, думал он, глупцу — ничего, глупцу — всегда муки: в бедности ему плохо, в богатстве нехорошо. Вот вывел он Пашу в люди, вытянул из нищеты, так нет же, надо напиться и страдать о целомудрии души.

Децкий лег на спину; теплом отдавала земля, звезды теснились в черной тьме неба; услышалось вдруг множество звуков — шелест воды в реке, далекий собачий лай, речи крохотных ночных тварей, детская переключка в лесу, рокошущий голос Адама, рассказывавшего страхи.

Децкому вспомнилась ночь из детства. Он и Адам лежали в кровати, в ногах сидела бабушка. Лунный луч падал на нее, из слов ее создавались картины таинственной жизни, где кто-то зарывал под яблоней клады, а другой кто-то их находил, где на дорогах поджидала путников нечистая сила, где домовые берегли огонь в очаге, где в глубинах прозрачных озер звонили колокола затопленных церквей, где всегда и точно сбывались

предчувствия. Бабушка была убеждена, что говорит правду. Они ей верили, им виделся тот мир. Потом оказалось, что его нет. "Вот утром меня мучало предчувствие беды, — подумал Децкий, — а она не случилась. Или случится?" Он расстался с видением бабушки, привстал и обвел взглядом компанию. Всем было хорошо праздник прощания состоялся.

Недоброе купальское предчувствие сбылось лишь через месяц. И то Децкий потом удивлялся, что рано сбылось, могло и полгода пройти, и было бы лучше, если бы проявилось оно позже, после увольнения. Да хоть бы в другой день, в другой час, на трезвую голову, на ясный ум, а то на пьяную. После работы пришлось выпить с нужным человеком, большим прощельгой. Не много было и выпито — по два крепких коктейля в подвальном баре, но закусывали, как модно, кофе, и Децкий вернулся домой навеселе. Тягать гирю не хотелось; он постоял под душем, повязался полотенцем и лег на тахту перед телевизором. Держа руку на пульте дистанционного управления, Децкий время от времени включал экран, но скуку серую, вплоть до урока математики, предлагало зрителям в этот час телевидение.

Уже потом, когда завязалось и пошло в рост следственное дело об ограблении, Децкий, перебирая в уме события того вечера, вспомнил и свое отражение в темном экране — лежал он, раскинув руки, совсем как Иисус, когда прибывали его к кресту бесстрастные легионеры. В этом отдаленном сходстве — повязка на голом теле, острая борода, багряная обивка дивана было что-то неприятное, какое-то скрытое предупреждение, недобрый знак, но ничего не услышалось и рефлекс настороженности не включился. Явилась, правда, обычная мыслишка о том, что стеречься, беречься надо на этом свете, но ведь всегда и берегся, и потому промелькнула она мелкой мошкой бесследно. Да и чего можно было сторожиться в собственной квартире в присутствии жены, которая в спальне, мурлыкая, перебирала свою мануфактуру. Хотя и в этом следовало разглядеть странность — отчего наперекор привычной лености побудилась она перебирать тряпье в чемоданах? Потом, да уже прямо назавтра, нашлось объяснение — пустая, глупая дура, но тогда, в седьмом часу вечера, Децкий только удивился не свойственному ей порыву к порядку.

Хотелось пить.

— Ванда! — позвал Децкий. — У нас пиво, компот, вода есть?

— Все тебе подай! — откликнулась жена. — Сам с ногами.

Децкий прошел на кухню, открыл холодильник, глянул по полкам и вдруг заметил под морозильной камерой бутылку посольской водки. Прозрачна была водка и сияла, как

бриллиант. Он коснулся бутылки — ладонь ощутила ледяной холод промерзшего стекла. "Выпью!" — внезапно решил Децкий, и сложилось вслед убедительнейшее обоснование: "Выпью и лягу спать!" Отчего зажглось пить водку, почему не возникло в душе разумное сомнение, стоит ли, какой-токой праздник, какая нужда, есть ли повод, — отчего нашел странный такой стих, Децкий, обдумывая назавтра череду совершенных глупостей, объяснить не мог. Приступ сумасшествия случился, не иначе. Вот уж где, действительно, дернул черт. Нашептал выпить, и выпилось мягко, как нарзан, — полстакана. Децкий закурил, снял вкус водки табачным дымом и вернулся в гостиную.

Жена уже не мурлыкала, вообще, ни звука, ни движения не слышалось в спальне. Эта, лишённая признаков жизни, тишина вызвала в Децком любопытство. Он заглянул: Ванда стояла возле шкафа и зачарованно рассматривала сберкнижку. Ничего особенного, или запретного, или дурного в таком интересе не было, но Децкого вдруг пронизала грубая неприязнь к жене, к груде импортного тряпья, разложенного на кроватях, к сизой, мертвенного цвета сберкнижке. Даже наряд жены — бикини и котурны на толстой подошве, придававшие ей вид американской сексбомбы, — вызвал раздражение.

— Юра! — мрачно сказала жена. — Зачем ты взял двенадцать тысяч?

— Что? — не понял Децкий.

Ванда повторила.

— Ты что, сдурела? — искренне поразился Децкий.

— Что ж я, слепая? — вспыхнула Ванда. — Или идиотка неграмотная, читать не умею? На, глянь, если ты такой умный.

Децкий глянул — и онемел. Действительно, последняя запись фиолетовыми чернилами свидетельствовала, что из общей суммы в шестнадцать тысяч триста рублей двенадцать тысяч были сняты и что случилось это 24 числа прошлого месяца, четыре недели назад.

Децкий долго и тупо разглядывал размашистую запись.

— Ну что, кто сдурел? — язвительно спросила Ванда.

— Да погоди ты, — отмахнулся Децкий.

— Может, ты подарил кому-нибудь? — не унималась Ванда. — Скромный такой презент...

Намек, что он мог подарить двенадцать тысяч какой-нибудь любовнице, и особенно злобный тон намека взбесили Децкого. Было что ответить, уже вертелись на языке достойные слова, но тут пришло к Децкому истинное решение; он спешно оделся в серый свой костюм, схватил шляпу, сберкнижку, паспорт и побежал к дверям.

— Куда? — крикнула Ванда.

— Грамотная! — съязвил Децкий. — Читать умеешь. Число видела? Двадцать четвертое, мы весь день сидели на даче.

В сберкассу он буквально ворвался, потому что закрывали и на входе какая-то работница не желала впускать. Протянув контролерше сберкнижку, он выпалил, едва сдерживая злость:

— Девушка, мне интересно, кто снял с моего вклада деньги?

— Что? — опешила контролер.

— То самое, — сказал Децкий. — Кто снял деньги?

— Это ваша книжка? — спросила контролер с недоверием.

Децкий без слов подал ей паспорт.

Заглянув в паспорт и сберкнижку, контролер достала из ящика счет и сообщила:

— Правильно, двадцать четвертого июня вы сняли двенадцать тысяч.

— Я? — вскричал Децкий.

— А кто?

— Я и спрашиваю — кто?

— Людмила Васильевна! — позвала контролер.

На этот зов пришла заведующая, и Децкому пришлось рассказывать свои претензии, что истощило его нервы вконец.

— Децкий? — переспросила заведующая. — Так ведь вы сами накануне просили приготовить сумму.

— Кого просил? — прищурился Децкий.

— Меня.

— Вы с ума сошли, — сказал Децкий. — Я впервые вас вижу.

— Это вы сошли с ума, — ответила заведующая. — По телефону звонили.

— Ах, по телефону, — насмешливо кивнул Децкий.

— Да, по телефону, впрочем, что спорить. Поднимем ордера, — решила заведующая, и скоро Децкому был показан ордер и было спрошено с нескрываемой злостью:

— Это — ваша подпись?

— Нет! — отверг Децкий.

— Как же нет! — возразила заведующая. — Вот, пожалуйста: и тут, и тут одной рукой. Сравните сами.

Децкий бычьим взглядом уставился на контролершу:

— Вы что, не помните, кому деньги отдаете, двенадцать тысяч?

— Я вас не оформляла, — отказалась та.

— А кто?

— Вера Ивановна.

— Так позовите ее.

— Она в отпуске, — сказала заведующая.

— На Кавказе она, — пояснила вышедшая из своей кабинки кассирша. — В Гаграх.

Слово «Кавказ», "Гагры" все объяснили Децкому. Мгновенно сложилось в голове: море, двенадцать тысяч, озеро Рица, пещеры в Новом Афоне, шашлыки, «Цинандали» — проматывались его денежки, шли в карман абхазцев.

— А я вас помню, — сказала ему кассирша. — Вот и шляпка эта же самая на вас. И бородака ваша приметная. И костюмчик тот же. Утречком вы и пришли, стали в очередь, а выплатила я вам около десяти часов...

От столь явной наглости Децкий на некую минуту задохнулся.

— А сегодня вы выпивали, — ласково продолжала кассирша. — Вот вам и не помнится...

Тут и заведующая уразумела причину скандала, и в глазах ее зажглась ярость.

— Знаете, гражданин, — сказала она. — Вам лучше в милицию обратиться. И — прощайте. Нам сигнализацию надо включать.

Децкий, разумеется, заявил, что именно так и поступит, что он этого так не оставит, найдет управу, не спустит, привлечет и тому подобное, и вышел на улицу в крайнем остервенении.

Всякое он видел, но о таких наглых бабах и слышать не доводилось. На большой дороге меньше грабят, думал Децкий, чем эти дамочки. Они украли, и сомневаться нельзя. Шляпка ваша, костюмчик, борода... Не на того напали, любезные, думал Децкий. Понятно, как сработано: кого-то нашли — мужа, брата, сожителя, подпись известна, ордер подделали, в квартиру влезли отмычкой — и на озеро Рица. Вон как дружно вопили, у всех рыло в пуху, верно, и другим вклады подсокращают. Разделили на четверых — по три тысячи, и корчат невинность. Децкому даже пожалелось, что побежал наперво в кассу, а надо было сразу в милицию. Можно было и сейчас зайти в милицию, но толку-то что — пока приедут, уже замок будет на дверях. Еще Децкий не знал — куда зайти, к кому, не звонить же в 02, те — с экстренной помощью, а тут месяц прошел. Ну, ничего, мстительно думал Децкий, утром встретимся, будет вам и шляпка, и костюмчик, и запах водочки.

Придя домой, он сел на кухне, взял лист бумаги и записал строка под строкой:

деньги сняты 24

24 я был на даче

подпись подделана правильно
постороннему бы не дали
дали постороннему
они!!!

Вдруг поразила мысль: а что еще украли? Подхватился посмотреть шкатулки и ящички — все было на месте. Потом полез в чемодан и не нашел облигаций. Тут последние сомнения затихли: они, сберкассовские; облигации — это их специальность, меняют, продают, им с руки.

Ныла, горела, требовала успокоения душа. Децкий вернулся в кухню, достал начатую бутылку водки и выпил махом полный стакан. Стало легче.

В коридоре Ванда разговаривала по телефону, прислушался — с Катькой. Слышал, как объясняла: "Нет, как раз двадцать четвертого, собственными глазами видела". И чуть позже: "Вот и я думаю, странно". И еще позже: "Кажется, ходил". "Да что она там треплет, не зная, — подумал Децкий. — Сам расскажу" — и хотел встать. Но тепло было от водки, он поленился вставать, а налил в стакан еще. Просидев час и доконав бутылку, он отправился спать крепко пьяным.

Проснись наутро Юрий Иванович рано, часов, скажем, в пять, чтобы до начала работы следственных учреждений оставалось достаточное время подумать, размыслить, одуматься, то, возможно, история эта пошла бы другой колеей. Но хоть сны Децкого и полны были кошмаров, спал он крепко и пробудился по сигналу радио, отмечавшему девять часов. Отчего в грозную минуту жизни так предательски долго продержал его в объятиях сон, Децкий никогда потом уразуметь не мог. Конечно, и посольская водка была в этом виновна, но виновна только отчасти, потому что прежде частенько выпадало принимать и большие дозы, однако волю и ритм сна выпивка не ломала. Вспомнились потом Децкому рассказы, что люди робкие, несмелые перед лицом опасности впадают в сон, но он был вовсе не робкий человек. Только и осталось признать с горестью, что изменила ему, стала его противником судьба, поскольку, вопреки древней мудрости — "утро вечера мудренее", встал Децкий с тем же ослеплением ума, с каким ложился.

Глянув на часы, он заахал — уже работала милиция и надо было поспешить, пока не разошлись, не разъехались по своим делам следователи.

— Ванда! — крикнул он. — Кофе!

В ванной он по привычке взял электробритву, но бриться не стал, решив, что и так сойдет, — дорога была каждая минута. Поплескав водой в лицо, одевшись, он большой

чашкой кофе осадил похмельную муть и, сопровождаемый женой, отправился в уголовный розыск.

Децкие жили в центре, до горотдела милиции добрались за десять минут; здесь по подсказке дежурного сержанта они поднялись на второй этаж, причем Децкий дважды цеплял ногой за ступеньки — все же давался ему знак остановиться, повернуть и бежать прочь. На втором же этаже все пошло с волшебной, можно сказать, скоростью. Только Децкие ступили в коридор, тускло освещаемый дневным светом через торцевые окна, и, замедляя шаги, пошли вперед, как вдруг прямо перед ними отворилась дверь кабинета с номером 207 и вышел к ним, словно давно их уже ожидал, молодой энергичный мужчина и спросил:

— Вы к кому, товарищи? Может, ко мне?

— У нас деньги украли, — сказал Децкий и почувствовал, как холодно и страшно сжалось сердце.

— Сколько? — быстро спросил мужчина.

— Двенадцать тысяч, — отвечал Децкий тихо.

Мужчина сочувственно вздохнул и пригласил супругов в кабинет.

Светло и прохладно было в комнате, в открытое окно лезла крона молодого каштана, и в густоте листвы высвистывали в два голоса, как показалось Децкому, синицы. Расселись; мужчина представился: он — инспектор уголовного розыска, майор Сенькевич, готов внимательно выслушать. Настал черед Децкого рассказывать обстоятельства пропажи денег. Следователь и впрямь слушал внимательно, с расположением, иногда успокоительно кивал. Дослушав, он попросил показать сберкнижку. Децкий вместе со сберкнижкой отдал паспорт; следователь обстоятельно изучил и паспорт. Потом пустился в дотошные расспросы: на каком этаже квартира; были ли закрыты окна; что еще исчезло из ценных вещей; где Децкий работает, где Децкая работает; бывали ли в квартире малознакомые люди; когда Децкие вернулись с дачи; не заметили ли по прибытию чего-либо странного, следов чужого пребывания и тому подобное.

— Очень занятное дело! — сказал наконец следователь и, достав из папки какой-то стандартный бланк, стал его заполнять.

Децкий понял, что заводится дело, и вдруг почувствовал себя зябко, потерянно, неуютно. Ни одной неприятной мысли не было в уме, наоборот, за длинным рассказом о хищении к нему пришло спокойствие, но белый лист бумаги, по которому быстро бегало «вечное» перо, это спокойствие разрушил; у Децкого возникло ощущение, что на спину ему кладется гнет.

Вскоре следователь подал ему прочесть запись заявления; Децкий бегло прочел и расписался.

— Если вы сейчас возвращаетесь домой, — вежливо сказал следователь, то мне хотелось бы посмотреть квартиру.

Не было причины возражать. Они вышли из кабинета. В коридоре следователь попросил их на минуту задержаться и скрылся за обитой дерматином дверью. Действительно, пробыл он там недолго. Втроем вышли на улицу; у тротуара стояла серая «Волга» безо всяких милицейских примет, и за рулем сидел молодой парень полностью в штатском; в эту «Волгу» следователь пригласил Децких сесть, причем сам и открыл для них заднюю дверцу. В машине пришлось ожидать эксперта; тот, помахивая коричневым старомодным чемоданчиком, появился лишь через четверть часа.

Доехали же за две минуты, поднялись на четвертый этаж, и напарник следователя занялся замками: сначала рассматривал их поверху через сильную лупу, затем отвертками из своего чемоданчика аккуратно их снял и понес в кухню и тут на газетке разобрал на составные части и опять же изучал внутренности с помощью увеличительного стекла.

Децкий в это время показывал следователю чемодан, для чего пришлось распахнуть трехстворчатый шкаф, и Децкий с болезненным сожалением заметил, что висит в нем чрез меру дорогих одежд — особенно же две Вандины шубы некстати торчали на самом виду. Открывая место хранения облигаций и книжки, пришлось вынимать кучу шерстяных и шелковых отрезков, которых тоже оказалось бессмысленно много, будто запаслись на двадцать лет вперед. Отметилось с досадой, что следователь очень внимательно оглядывает гарнитуры — и здесь, в спальне, и затем в гостиной, и в Сашиной комнате. Было в его взгляде легкое удивление, словно видел то, чего не ожидал увидеть, что озадачивало, разжигало любопытство. Особенно долго простоял он перед книжными шкафами в гостиной, перед румынскими книжными полками в комнате сына, глядел на корешки со знанием библиофила и еще излишне пристально рассматривал антикварные бронзовые часы. Вдобавок Децкого угораздило выйти вслед следователю на балкон; тут следователя интересовала давность замазки на стеклах, а Децкий глянул вниз, на машину — двое мальчишек что-то рисовали пальцами на пыльной крышке багажника. Привычка оберегать «Жигули» от таких украшений сработала сама собой; Децкий закричал им угрожающим тоном: "Мальчики, мальчики, ну-ка прочь от машины!" Тех, разумеется, как ветром сдуло, а следователь тотчас же поспешил уяснить: "Ваши "Жигули"?"

Словом, начало расследования складывалось совсем по-иному, чем представлялось и вечером, и по дороге в милицию; представлялось, что уголовный розыск не медля

рванется в сберкассу сверять, выяснять и брать в ежовые рукавицы сберкассовских. Внимание следователя к обстановке, к вещам тем более раздражало Децкого, что он изложил следователю свой поход в сберкассу и все свои убедительнейшие подозрения. И теперь, желая перебить неприятный осмотр квартиры и направить следователя к необходимому делу, Децкий воскликнул: "Да, совсем забыл. Та контролер, оформившая фальшивый ордер, в отпуск ушла!" Следователь, принимая справку, кивнул. Эта бесстрастная реакция побудила Децкого на следующую попытку.

— У них и моя подпись была, и адрес, — сказал он, глядя следователю в глаза. — Как вы чувствуете — они?

— Никак не чувствую, — ответил тот. — Надо посмотреть и подумать. Во всем объеме фактов.

И тут Децкого осенило, да и не так надо сказать, тут пригвоздило его к полу прозрение, что совершил он непоправимую глупость, он ужаснулся явного безумия своего поступка: то он сделал, чего ни в коем случае делать было нельзя: полным сумасшествием, идиотизмом с его стороны было обращение к милицейскому следствию. Боль ударила ему в сердце, словно воткнулся в него безжалостный и ледяной перст рока; Децкий, верно, и побледнел, поскольку следователь, истолковав перемену в лице по своему, заторопился успокоить: "Не надо волноваться, найдем!" — и таким обещанием добил Децкого окончательно.

Как раз в этот момент вошел в гостиную технический эксперт. "Все чисто, — сказал он, — открывали ключом", но уже Децкий и сам знал, что открывали ключом, и знал, говорила ему об этом включившаяся с жутким опозданием интуиция, что деньги снял тот, кто был убежден, что он, Децкий, стерпит любую утрату, но не рискнет пойти в милицию, что для него лучше потерять еще столько же, чем обнажиться, раскрыться, попасть под микроскоп милицейско-прокурорского изучения.

Последующий час стал для Децкого часом страхов. Он сидел в кухне, испытывая полное бессилие против обрушившейся на него беды. Двенадцать тысяч — сумма немалая, и следователь, осознавалось Децкому, волей-неволей, раньше или позже должен будет задаться вопросом: откуда у начальника цеха Децкого со среднемесячным окладом 260 рублей собрано шестнадцать тысяч на книжке, машина стоимостью в семь тысяч, три гарнитура общей стоимостью в пять тысяч, каракулевая и котиковая шубы, на несколько тысяч книг, и еще немалый набор разной всячины, и еще дача, за которую выплачено предыдущему ее хозяину четыре тысячи, что тот, конечно же, не посмеет скрывать в случае официального вопроса. Объяснить происхождение всех этих средств

бережливостью, многолетним накоплением практически невозможно. Ну, пусть пятая часть образована отказом от благ, унылым сидением на хлебе и воде, алчным скопидомством, но все остальное, львиная доля состояния не имеет видимого и правомочного источника, словно найдена на улице или послана с неба, чему, конечно же, никто не поверит. А уж как начнут проверять, вглубь, вширь, перекрестно, кто-нибудь влопается, и — тюрьма, колония, барак, подъем, отбой — конец жизни.

Все это так явственно и в таких мрачных тонах рисовалось, что Децкий сидел в последнем отчаянии, застыло и мертво, как сидит смертник перед конечной своей дорогой на эшафот. Больше всего болело, что сам виноват. Как дятел, долбила мысль: "Сам пошел в милицию! Сам! Сам!" Идиот, идиот, говорил себе Децкий с ненавистью к жизни. Убьют — и справедливо поступят, потому что дурак. Сам прибежал: караул, спасайте, ограбили! Сейчас начнут спасать. Проверят весь объем фактов, всех знакомых перетрясут, что-нибудь и вытрясется. И не уходила из глаз картина, как он и Ванда входят в здание милиции. Ведь и спотыкался на лестнице, ноги не пускали идти; довериться бы примете, повернуть... Не укладывалось в голове, не верилось, что он умный, трезвый, расчетливый человек — был там, заявлял и ставил свою подпись на бланке в знак требования у государства защиты своих имущественных прав.

Но постепенно воля собралась, и, почувствовав прежнюю крепость духа, Децкий решил: "Хватит ныть — надо выпутываться!" Мозг привычно напрягся, наметилось множество необходимых для срочного исполнения дел, и стал складываться план охранных действий. Заварив кофе, Децкий пил его маленькими глотками, и вязал одну к другой успокоительные мысли. Следовательно, рассуждал он, может думать все, что ему угодно, такое его право. Равно, как он, Децкий, думает о многих людях, что они — последние мерзавцы, однако из таких дум ничего не происходит. Пусть думает, пусть искренне верит, что деньги нажиты мошенничеством, украдены, добыты на большой дороге. Невелик страх. Есть презумпция невиновности. Где, как, когда нажиты? А просто: бабушка завещала, подарила в свой смертный час. Почему Адаму не подарила хоть пять рублей? Бог ее знает, ее воля, только она могла бы сказать, будь жива. Почему же вы с братом не поделились? Потому что жадина, кулак, подлец, жмот. Но за это не судят. И весь сказ.

А главное, думалось Децкому, следовательно ничего не знает и не может знать. Ему доступно чувствовать, что есть неофициальный, возможно, противозаконный, изрядный источник доходов, но где искать его? Кто черпает из него — муж или жена? В какой форме — хищение, спекуляция, подделка документов, подпольное производство? И кто он, этот Сенькевич? Приметно, что неглуп, активен, удачлив, коль сразу, с ходу, врасплох,

оказался в неподготовленной к осмотру квартире, среди кричащих примет денежного избытка.

Децкий решительно встал и пошел к телефону. Сначала он позвонил одной старой знакомой, о которой знал точно, что друг ее семьи — лучший адвокат, и попросил с возможной скоростью разузнать мнение об инспекторе уголовного розыска Сенькевиче. Затем он позвонил на работу Павлу и предупредил, чтобы он и Петр Петрович обязательно его дождались. Затем он договорился с Данилой Григорьевичем, что заедет к нему по чрезвычайному делу через час. Наконец, Децкий позвонил в комиссионку Катьке и условился с ней о свидании в кафетерии через полтора часа.

Выполнив эти звонки, Децкий разделся, принял душ, побрился и для бодрости тридцать раз отжался от пола. Машинально все это делая, Децкий думал о похитителе. Вечернее предположение о вине контролерши, и тем более о групповой вине сберкассовских, казалось теперь бессмысленным, несуразным, глупым; что водочкой подсказано, думал Децкий, то умом не блещет, все зло на земле от нее, все глупости, ошибки, провалы. Контролерша здесь сбоку припека. Конечно, имела она на руках его адрес, и подпись, и прежние ордера, по которым несложно подделать почерк, но не было у нее и быть не могло самого необходимого — ключей. Отмычками же его замки повышенной секретности мог открыть только специалист экстракласса. Но вот и эксперт не нашел следов отмычки. И еще, не могла знать та контролерша планов семьи на выходные. Тут Децкий допустил, что она могла установить связь с кем-то из его круга, кто дал или продал исчерпывающую информацию, но опять-таки возникал в этом хищении «свой» человек, знавший семейный уклад, порядки, квартиру, имевший доступ к ключам, хотя бы минутный доступ, чтобы снять с них слепок для производства копии. Но если думать, что похищение исполнил или организовал свой, тогда становились непонятными цель, задача, смысл этого огромного риска.

Взглянув на часы, Децкий заторопился в машину. По выезде со двора ему следовало свернуть налево — на ближайший маршрут к магазину Данилы Григорьевича; машина же, будто собственной волей, повернула направо, и скоро Децкий проезжал по улице, где располагался в четырехэтажном строении горотдел и где лежал сейчас в столе следователя Сенькевича грозящий тюремным заключением и полной конфискацией имущества документик. Тут воображение Децкого разыграло несколько желанных, но совершенно невозможных происшествий, направленных на уничтожение документика: представился буйный пожар, охвативший здание и не оставивший никаких бумаг; представилось сильное землетрясение, провал земли под горотделом и падение стола с документиком в расщелину, где его смололи и погребли движущиеся пласты гранитных

пород; представилось, что следователь неизлечимо заболел или, это еще лучше, попал в автомобильную катастрофу и потерял память. Хотелось, очень хотелось таких чудес, но едва ли такие чудеса могли случиться, надеяться на них, плыть по воле волн, понимал с горечью Децкий, не годилось.

Зарулив во двор огромного, на квартал, дома, весь первый этаж которого занимали «Хозтовары» Данилы Григорьевича, Децкий через служебный вход вошел в магазин, прошел глухими коридорами и оказался в директорском кабинете. Данила Григорьевич сидел над кипой накладных; мощный вентилятор, поворачиваясь из стороны в сторону, гнал на него ветер, шевелил бумагами на столе. В кабинетике было сумрачно; свет лился сквозь тесненькое под самым потолком окно, забранное от воров решеткой, что вкупе с убогой мебелью и грязной побелкой придавало кабинету вид камеры-одиночки. Децкий поздоровался и присел к столу, испытывая нечто вроде злой радости. Под стук костяшек и шелестение накладных он думал, что Даниле Григорьевичу через минуту станет очень невесело и что вот так спокойно, без страха в душе, вести бухгалтерию он сможет вновь очень нескоро.

Кипа накладных таяла медленно, Децкому ждать надоело, дело его не позволяло тратить время зря, и он грубовато остановил приятеля:

— Потом сосчитаешь, Данила Григорьевич. Послушай лучше меня.

Тот неохотно оторвался от своих бумаг:

— Ну что такое срочное?

— Держись, брат, за стул, — сказал Децкий и последовательно изложил события вчерашнего вечера. Про нелепый скандал в сберкассе Данила Григорьевич слушал с улыбкой недоверия, но когда Децкий перешел к событиям текущего дня и объявил о визите в милицию, и осмотре следователем места происшествия, и начатом следствии по хищению двенадцати тысяч, Данила Григорьевич осел на стуле, посерел, одубел, искажился предельным страхом.

— Как ты мог? — наконец туго выговорил он пересохшим ртом. — Если пришлют к тебе бригаду ревизоров — решетка.

Взгляд Децкого тотчас пополз вверх по стене — к окошечку, Данила Григорьевич машинально присоединился и, наткнувшись на решетку, осел на стуле еще ниже.

— Решетка не решетка — бог решит, — сказал Децкий. — Ревизоры сей миг не примчатся. Знаешь, улита едет... Сегодня, завтра они не начнут, скорее всего, они вообще здесь не появятся. Но всякое возможно, вдруг взбредет в голову. Так что, приведи в порядок дела.

— Что же мне с товарами прикажешь делать? — спросил Данила Григорьевич раздраженно.

— Выбрось! — ответил Децкий.

— Легко сказать!

— Ну не выбрасывай!

Данила Григорьевич прожег Децкого взглядом проклятья.

— Заварил же ты кашу, Юра, дай тебе бог здоровья, — сказал он. — На кой хрен ты сберкнижку завел? Процентами соблазнился? Мало тысяч — копейки нужны...

— Чтобы милиция без работы не оставалась, — ответил Децкий. — Пусть ищет. Ну, будь здоров.

За Данилу Григорьевича Децкий был спокоен. Через пять минут он возьмет себя в руки, соберет Виктора Петровича и других, не известных Децкому заинтересованных лиц, и уже сегодня, в крайнем случае завтра, все уязвимые места отчетности будут застрахованы, все излишки товара, не проходящего по накладным, вывезены на свалку или сожжены, и следы их пребывания в отделах и на складе будут стерты, и сам запах их будет выветрен вентилятором, словно и не было их вовсе. Потому что никто не хочет менять благоустроенную квартиру на барак, жену на соседей-уголовничков, сытные обеды — на постный суп, личную машину на тюремный вагон, а десять лет благостной, вольной жизни на десять лет муки, да хоть бы и на год и на три месяца — все равно страшно. А если бы этого не боялись, думал Децкий, то и жизнь бы расстроилась на белом свете, пошла кувырком, потеряв и конец, и начало, и главный смысл. Все держится, думал Децкий, животным страхом, страхом за свою собственную, единственную, самую важную и дорогую из всех жизней на земле жизнь. Страх этот всем языки свяжет, даст трусливому Виктору Петровичу силу, туповатому Петру Петровичу ум, простаку Павлу — хитрость. И встанет перед следствием, перед майором Сенькевичем невидимая, непреодолимая стена.

Кафетерий, в котором назначено было свидание с Катькой, располагался в кондитерском магазине. Катька по своему обыкновению опаздывала, и Децкий, чтобы скрасить ожидание, спросил себе кофе. Ему ответили, что нет горячей воды; тогда он попросил молочный коктейль, и коктейля не дали тоже кончилось мороженое. Децкий вышел на улицу, присел на подоконник и закурил. Закурил и задумался о воре, даже не столько о нем, сколько о скверной, как там ни храбрись, ситуации. Пока не отыщется вор, до тех пор не остановится следствие — это ясно. Обворован не только он, Децкий, частное лицо, но обворовано государственное учреждение, поставлена под сомнение способность государства соблюсти закон, обеспечить полную сохранность вклада. И уж тут дело не

прекратят даже в том случае, если станет известно, как этот вклад создавался. И по сумме, и по дерзости хищение — вовсе не рядовое. Влом в квартиру, кража облигаций, подделка подписи, хищение двенадцати тысяч — уже четыре преступления; за любое из них меньше трех-пяти годиков не дают, а в совокупности что? — по мягкому счету, двенадцать. Новое поколение школу окончит и из армии придет, лишь тогда перед воровом откроются ворота. И выходит, что заработал он по тыщонке на год; проще в шабашке подколымить, чем воровать. Но раз решился, крал, то не боялся. И значит — свой. Но если свой, если он знает его, Децкого, и считал заявление в угро невероятным, то он не все выполнил чисто, где-нибудь, в чем-нибудь не берегся, не принимал в расчет возможностей милицейского следствия, например, графологическую экспертизу почерка на расходном ордере. Децкий мало знал о такой экспертизе, но помнилось ему из давно читанной статьи в журнале "Человек и закон" — экспертиза такая определяет руку с поразительной точностью, никакие ухищрения, уловки, старания не могут создать надежной защиты, написал хоть бы и левой ногой — и уж ты, голубчик, известен. Так что, по сути дела, вор, думал Децкий, оказался в незавидном, скверном, опасном положении, куда более худшем, чем сам Децкий, ибо путь к нему сотрудников уголовного розыска предопределен силою современной техники...

Ход этих мыслей прервало появление вдвали, на перекрестке, Катьки. Ярко-фиолетовая блуза, юбка с боковым разрезом, сквозь который высоко открывались загорелые ноги, привлекали к ней внимание всех встречных мужчин, и она принимала нескромные их взоры, как кинозвезды принимают цветы — не глядя, кто их подносит, главное, чтобы подносили. Эх, милая, усмехнулся Децкий, а ведь и твоя высокая грудь сейчас опадет, и тебе станет не до жиру. Он поднялся ей навстречу, поцеловал руку и сказал комплимент. "Полно, полно, обворованный, не лги, — улыбнулась Катька, — у тебя иное на уме, свои тысячи". Они зашли в кафетерий. Тут Катьке как заведующей комиссионкой было выказано почтительное уважение; для нее нашелся в кофеварке кипяток и был подан — именно принесен продавщицей — густо заваренный кофе, а когда начался обед, никто не возразил, что в магазине, в торговом зале, остались посторонние люди. Две молоденькие продавщицы в другом конце зала слушали магнитофон. Лучшей обстановки для серьезного разговора и быть не могло.

— Значит, обокрали тебя, как дурака, — сказала Катька.

— Обокрали, Катя, это полбеды, — улыбаясь, ответил Децкий. — Сам голову на плаху, можно сказать, положил. Скоро топор достанут. В милицию меня угораздило жаловаться. Уже следователь приходил, замки проверяли...

— Ты что, спятил? — поразилась Катька и взглянула ему в глаза — не шутит ли?

— Тебе-то чего бояться, Катюша? — понаивничал Децкий, хоть и знал хорошо, чем опасно для нее следствие. Стоило майору Сенькевичу покатить клубочек от Децкого через Павлика и Петра Петровича на Данилу Григорьевича, на магазин «Хозтовары», как тут же с железною логикой втягивалась в сферу подозрений и она, бывшая завсекцией этого магазина. И переход ее с хозтоваров на комиссионное барахло, состоявшийся два года назад, для розыска не препона — преступления против социалистической собственности срока давности не имеют. Да и в комиссионной торговле Катька, полагал Децкий, тоже, верно, допускала какие-то отклонения, бог знает какие, его не касается, но ясно, что без левого дохода Катька жить не умеет и не будет никогда. Есть отчего заволноваться, о чем подумать и к чему приготовиться. Децкий и назначил эту встречу с тою целью, чтобы Катька вошла в курс опасности, чтобы не застиг ее врасплох негаданный, нечаянный вызов в милицию или появление с каким-нибудь вопросом энергичного майора.

— Как бы там ни было, не вернешь, — сказал Децкий. — Давай советоваться.

— О чем? — возразила Катька. — Или не знаешь, что надо делать?

— Знаю. О другом. О воре. — И Децкий сообщил свои последние рассуждения.

— Могу сказать лишь одно — он глуп, — вывела Катька.

— Почему?

— Умный человек выбросил бы сберкнижку в урну.

— Но для чего?

— Хотя бы для того, чтобы не возвращаться в квартиру, — сказала Катька. — А главное: тебе, скажем, потребовались эти деньги, ты ищешь книжку — нет, как в воду канула. Ты бежишь в сберкассу просить дубликат. И только тут выясняется, что была кража. Неизвестно: уворована ли она или ты ее потерял. Ведь и сам будешь думать, что посеял. А уж кто нашел и воспользовался — ищи ветра в поле.

— Однако он так не сделал.

— Я и говорю: дурак.

— Нет, не дурак, он далеко не дурак, — сказал Децкий. — Если книжка лежит в чемодане, я могу сто раз посмотреть на нее и не взять в руки. Мне спокойно — вот она. Ванда по чистой случайности открыла. Через полгода можно было хватиться. Он на это и рассчитывал.

— Но облигации же вы проверяете, — не согласилась Катька. — Первый тираж, вы за ними, они исчезли — и хитрость раскрыта.

— Она-то, верно, раскрыта. Но кем? Мною. Он все верно рассчитал, одного не учел, что я в милицию пойду.

— Но пошел же, идиот.

— Пьян был, Катюша, пьян как сапожник, разум отшибло. Знать бы кто, убил бы, собаку.

Катька подумала и сказала:

— Юра, кажется мне, ты не о том думаешь, о чем надо. Двенадцать тысяч — пустяк для тебя. Кто украл — милиция найдет. Бреши заделывай. Дай бог все не утратить.

Децкий сообразил, что Катька мыслями уже далеко от него, что ее занимают свои бреши и что есть они в немалом, видимо, количестве. Глубокое уныние читалось в Катькиных глазах. И лицо начало выдавать истинные годы, и плечи поникли, и морщинки появились под слоем французской пудры, и была слизана с губ яркая помада, и перестал излучать сексигналы проникшийся страхом организм. Разительная эта перемена доставила Децкому некоторое удовлетворение. Несложно, милая Катя, думал он, корчить из себя Екатерину Вторую, менять любовников и завлекать прохожих разрезанной юбкой. А вот под топором постоять, гадая: зарубит или мимо пройдет, — вот где забава, с постелью не сравнить.

— Позвони вечером, — попросила Катька.

Децкий пообещал.

Прибыв на завод, он, не откладывая, пошел на склад готовой продукции и ошарашил Петра Петровича, как кирпичом: вполне реально, что в ближайшее время появятся здесь по заданию милиции ревизоры, эксперты, бухгалтеры народ дошлый, введливый, остроглазый и неподкупный, и надо замести следы и в отчетности, и в натуре.

— Как? — охнул Петр Петрович. — Есть штук десять квитанций без номенклатуры, с пересортицей, и они в бухгалтерии.

— Но стоимостное выражение сходится? — спросил Децкий.

— Разумеется! — сказал Петр Петрович.

— Так чего волноваться, не вижу причин, — Децкий весело хлопнул завскладом по плечу. — А всю неучтенку оформите с Павлушей вчерашним числом: и тебе хорошо, и нам — перевыполнение плана.

Больше и говорить было не о чем. Петр Петрович задачу понял, а уже как он это сделает, Децкого не касалось.

Он прошел в цех и открыл кабинет; сразу же набилось людей с вопросами и делами, и пришлось потратить час на безразличные ему производственные нужды. Эта рабочая суэта и принятые уже меры самообороны успокоили Децкого, он даже устыдился дневных своих страхов, отчаянного сидения в кухне, ожидания наручников. Началась борьба, а исход борьбы решают воля и мужество, ум и бесстрашие. Приедут ревизоры — пожалуйста, все будет к их услугам. Пусть вникают. Могут догадаться, не смогут

доказать, в этом Децкий не сомневался. Все то левое, неучтенное, что шло из участка ширпотреба к Петру Петровичу, а от него, минуя базу, к Даниле Григорьевичу, страховалось показателями основного производства, списаниями на брак, технологическими потерями по пределу нормы, а уж и брак, и потери, и сэкономленный, но не оформленный металл никакая ревизия, будь она хоть семи пядей во лбу, сосчитать не сумеет. Денежная стоимость на входе и выходе равны, план всегда выполнялся, прогрессивка за перевыполнение всегда шла, а прочее — в худшем случае — халатность. Лишь бы самим не проговориться. Но и Петр Петрович будет нем как могила, и Данилу Григорьевича самый лучший следователь мира не разговорит, и их люди, надо думать, не бараны — не задрожат. Здесь, на заводе, улики для суда не соберут — отпечатки пальцев не снимешь, а все замки, ложки, ножи, кастрюльки, штопоры, щипчики для орехов и прочий товарец разошелся по покупателям и сгинул.

Появился Павел. Децкий закрыл кабинет и в пятый раз за день, если считать и беседу со следователем, рассказал о краже и о начавшемся следствии.

— Вот и доигрались! — отреагировал Павел. — Сколь веревочке ни виться, все равно конец.

— Очумел? — налился злостью Децкий. — Какой конец! Какая веревочка!

— Поделом, Юра, — словно не слыша Децкого, говорил Павел. — Сколько же можно грабить! Пора и на солнышко!

Децкий потерялся и долго не мог найти нужных слов. Неприемлемо, глупо, по-детски звучали восклицания товарища; такой реакции Децкий не ожидал; все другие восприняли сообщение как надо — навести порядок, замкнуться, быть настороже. Недоставало сейчас о совести рассуждать. С таким настроением да к следователю — сразу добровольное признание.

— Ты что, маленький? — хрипло просил Децкий. — Или кретин? Не понимаешь?

— Не бойсь, — с горькой усмешкой ответил Павел. — Я понимаю. До конца надо нести подлый свой крест. Надо молчать...

— Не молчать надо, — перебил Децкий, — а надо немедленно перетрясти всю документацию, изорвать и сжечь лишнее, сосчитать приходы, расходы, делом заняться, Павлуша, делом, чтобы жена тебе передачи не носила в тюрьму.

— Займусь! — лениво ответил Павел.

Оставшись один, Децкий аккуратно перебрал свои бумаги. Собственно, и перебирать было нечего; сомнительных документов он никогда не держал, а следовало изъять некоторые технологические карты с непонятными непосвященным, но все же разоблачительными пометками. Децкий так и поступил — изорвал их в мелкие клочья и

бросил в урну, из которой цеховая уборщица в пятом часу перенесет мусор в мешок, а затем — в контейнер. Сделав это, Децкий впервые за день почувствовал освобождение. Вся цепь людей пришла в защитное движение, каждый, чего боится, то рвет, сжигает, выбрасывает, оформляет, выносит или вывозит, и в принципе любые усилия розыска проникнуть в загадку доходов уже обречены на неудачу. Надо очень хорошо знать конкретную технологию, иметь нерядовое инженерное мышление, такое, как у него или у Павла, чтобы понять механизм появления в цехе свободного товара. Никому не дано рассчитать излишки, образованные при оформлении поздним числом действовавших рацпредложений, списаниями полуфабрикатов, перерасходом материалов в авралы, работой учеников. Для того и держал Децкий при цехе участок ширпотреба, чтобы маленькое терялось в тени большого и пользовалось его отходами. Тут опасность раскрыться не грозила; не то что майор Сенькевич — полковники и генералы останутся ни с чем.

Мысли Децкого вернулись к инспектору, и он тотчас позвонил знакомой узнать, что рассказал ей осведомленный адвокат. Ответ ее был таков: Сенькевич — талантливый следователь, звезда криминального розыска, специалист по особо сложным делам, человек умный, образованный, с чутьем и хваткой. Децкому просто повезло, что следствие ведет он, можно спать спокойно — вор будет отыскан хоть из-под земли. Эта похвальная характеристика смутила Децкого. Угораздило же, подумалось ему, наткнуться именно на него. Так и выскочил навстречу, словно сквозь стену глядел. Нечто судьбинное представилось Децкому в этой случайности. Ведь сидел в кабинете, и, верно, за столом сидел, и вдруг дернуло его вскочить, распахивать двери, любопытствовать, кого мимо несет, и зазывать к себе. Успокаивало, правда, что Сенькевич — специалист по чисто уголовным делам, борьба с хищениями социалистической собственности — хлеб другого отдела, и Сенькевич направит свое необычное, если верить мнению адвоката, дарование на поиск квартирного вора. Здесь чувства Децкого опять же раздваивались: если деньги снял "не свой", то талант, чутье и хватка следователя кстати, но если вор принадлежал к своим, к близкому кругу Децкого, к числу людей дела, то следователь с такими качествами совершенно был не нужен. Потому что свой, думал Децкий, получая срок, не удержится не потянуть за собой компанию, чтобы веселее коротать бесконечные годы заключения. И Децкому со всей очевидностью открылось, что в интересах собственной безопасности и свободы он обязан узнать преступника прежде, чем это сделает следователь Сенькевич.

После осмотра квартиры Сенькевич отправился в сберкассу, где побеседовал с заведующей и кассиршей и посмотрел злополучный ордер. Относительно контролерши, принявшей поддельный документ, ему объяснили, что из отпуска она вернется через десять дней, в окошке же контроля недавно пять месяцев, а раньше работала на приеме приходных сумм, и что это добросовестная и честнейшая работница. Кассирша повторила Сенькевичу свое убеждение, что человек, получивший двенадцать тысяч, и вчерашний скандалист — одно и то же лицо, причем и вчера, и месяц назад он приходил в том же самом костюме и той же шляпе. Не забыла она и сообщить, что он скандалил будучи пьяным. И заведующая подтвердила, что от вкладчика густо несло водкой. Сенькевич пригласил обеих женщин назавтра к себе для оформления показаний и поехал в отдел.

Здесь он подготовил необходимые документы о проведении идентификации почерков на ордере и заявлении Децкого. Скудость сведений не допускала широкого построения версий, но контуры их намечались, какая-то работа в уме уже велась; в частности, тяготило предположение, что Децкий сам снял двенадцать тысяч и по неизвестным причинам придает этому вид воровства. Возможно, в силу каких-либо семейных обстоятельств решил развестись и таким способом разрешает материальные вопросы в свою пользу. Однако не верилось, что он снял деньги лично. В этом случае находила понятное объяснение и кража облигаций. Они имеют номинальную стоимость, никогда не исключается возможность выигрыша, их легко обменять на деньги в любой сберкассе, чего нельзя сделать с золотом или вещами, реализация которых через магазин связана с предъявлением документов, а продажа с рук требует осмотрительности. Становилось понятно, почему он не тронул домашнее золото. Будь здесь замешан обычный вор, едва ли осталась бы в квартире хоть одна золотая пылинка. И обычный, рядовой вор не рискнул бы явиться в сберкассу: надо подделать подпись, для чего необходимо особое умение или длительный тренаж, и надо точно знать, что владельца книжки помнят слабо. И обычному вору нет никакого смысла возвращать книжку в чемодан. Разве что ради насмешки. Но для черного юмора хватило бы вполне прислать ее доплатной бандеролью. Результат тот же, риска — нуль. Да и какая радость обычному вору насмешничать, держать при себе чужой документ, опасную вещественную улику. Он после неожиданного успеха избавился бы от нее возле первого водостока. Помимо золота обычный вор взял бы кое-что еще. Зная из суммы своих наблюдений за квартирой, что хозяева уехали на весь день, а в те знойные дни это не подлежало сомнению, и выходит, не опасаясь немедленной погони, вор все же оставил в шкафу две шубы, каждая в несколько тысяч, хотя мог упаковать их в саквояж или пакет. Вошел, вышел, сходил в сберкассу, вернулся и вышел. Очень уж лихой, рискованный малый.

В ход своим мыслям Сенькевич пометил проверить алиби самого Децкого на день двадцать четвертого июня: у кого был на глазах; не исчезал, не отлучался ли с дачи под предлогом купания или прогулки; если отлучался, то на сколько; есть ли рядом соседи с машиной, не обращался ли к ним.

Вспоминая слова, манеры Децкого, окрик его на детей, Сенькевич нашел ему такое определение — энергичный и холеный. Даже растерянность, и волнение, и скверная ночь накануне не смогли затемнить той особой холености, какую дает упорядоченная, хорошо обеспеченная жизнь, жизнь без ограничений. То же чувствовалось и в жене Децкого — холеная молодая женщина с широкими привычками, всегда, как показывал ее гардероб, добротнo и дорого одетая, избавленная от всех потерь здоровья, какие следуют из материальных недостатков. Сыр в масле.

Дальнейшее думание ничего к этим наметкам не прибавило. Сенькевич пошел к начальнику, поставил в известность о первых шагах следствия и договорился, что в помощники возьмет лейтенанта Андрея Корбова. Сенькевичу импонировали в нем интеллигентность и редкая чувствительность к настроению другого человека; он неким образом улавливал состояние души собеседника и умел соотносить с этим свое поведение. Работать с ним Сенькевичу было легко.

Затем он сходил в столовую, а после обеда засел готовить к передаче в суд прошлое дело; эта работа заняла остаток дня. Он вышел на улицу в седьмом часу и поспешил на троллейбусную остановку. Машины шли плотно, но все другие номера. Наконец появилась нужная «тройка»; толпа бросилась штурмовать двери — и напрасно, — втиснуться не удалось никому. Сенькевич посмотрел, посмотрел и счел за лучшее отшагать пару остановок пешком. Но тут к нему пришло размышление, что эти полчаса «пик» стоит использовать не только с пользой для здоровья, но и с корыстью для дела: если выйти на параллельную улицу, то, следуя в своем направлении, можно заглянуть к Децким для разговора об утре купальского дня. Он так и сделал.

Во дворе Сенькевич огляделся. Дом, и вообще квартал, был построен вскоре после войны, когда строили несколько иначе: потолки и окна были высокие, стены — кирпичные и толстые, балкончики — маленькие и без козырьков. И устоявшийся быт резко отличался здесь от микрорайонного: никто не стоял на балкончиках и не высовывался в открытые окна; не гремела, как в новых кварталах, музыка из квартир, и на весь немалый двор людей оказалось трое — две девочки и нянька. В подъезде выходило на площадку две квартиры; двери были еще старой работы — сплошь деревянные, гасившие звуки. Поднимаясь по лестнице, Сенькевич думал, что все это сыграло на руку вору, если хищение совершил вор, или Децкому, если деньги снял он сам. Тихий двор,

нелюбопытные люди, немногие соседи — можно не то что дважды — десять раз войти в подъезд, и не найдется свидетель.

Двери открыла жена Децкого. Сенькевич извинился, что посещает без предварительного звонка, и узнал, не затруднит ли хозяев уделить ему четверть часа. Конечно же, его пригласили войти. Сам Юрий Иванович задерживался на работе; Сенькевича это отсутствие даже обрадовало появлялась большая свобода для вопросов. Они прошли в гостиную, где смотрел какой-то детский сериал сын Децких. Выключить телевизор и лишить мальчика удовольствия Сенькевич воспротивился.

Сели в кресла. Тут Децкая блеснула наивностью ума, спросив, не нашла ли милиция вора? "К сожалению, еще нет", — ответил Сенькевич и в свою очередь попросил рассказать о событиях того дня, начиная с часа пробуждения. Рассказано ему было то, что уже известно читателю; читателю даже больше известно, поскольку Децкая в подробности не вдавалась.

— Ну, а были ли в тот день какие-либо странные события? — спросил Сенькевич.

— Все было хорошо, — ответила Децкая. — Правда, Юра утром, будто чувствовал, все волновался, приставал: "А газ ты выключила? А утюг выдернула?"

— И муж поехал проверить?

— Мы гостей ожидали, — сказала Децкая, — некогда было ездить. Муж с Сашей работали.

И Саша осмелился сказать, что он и папа сбивали короб для шашлыков, поливали грядки и папа учил его фотографировать.

— Кто-нибудь в это время заходил на дачу?

— Сосед, доктор Глинский. Юра у него доски одалживал.

Ведя свой интерес, Сенькевич присматривался к Децкой. Какое-то кошачье кокетство пронизывало ее тон и манеры, уверенность самодовольной, привыкшей к вниманию хорошенькой женщины, не просто хорошенькой, а хорошенькой и богатой, богатой и потому хорошенькой, лучше других одетой, вкуснее других покушавшей, прочнее других застрахованной от неудовольствий. Спокойствие, сытость, благополучие чувствовались за ее душевным опытом. Довольная ходом своего существования женщина сидела перед ним; даже кражу огромной суммы она переживала неглубоко, зная, что милиция обязана найти вора и деньги, а если не найдет, то государство возместит ущерб своими. Сенькевич задумался, какими же чувствами живет Децкий, удовлетворен ли он своим браком, неужто хищение двенадцати тысяч — единственная беда, обрушенная на него жизнью? Да и беда ли? Почему бы не хитрость, разыгранная с помощью приятеля, которому придумали стопроцентное алиби? И Децкий, разумеется, имеет прочное алиби.

Сенькевич хоть и знал, что обязательно встретится с соседом-доктором, но уже подозрения в отлучке Децкого с дачи и личном участии в преступлении отпали — убедительно звучал рассказ Ванды Геннадьевны и убедительно поддерживал его своими замечаниями сын.

Затем Сенькевич узнал, где находится дача и где именно в Игнатово. Слушание и работу воображения облегчил Саша, решившийся похвалиться своей первой фотоработой. Снимки хоть и не отличались резкостью, но достаточно внятно представляли и дачный дом, и сад, и группу людей в купальниках на лугу и в реке, и даже две особы без купальников были зафиксированы объективом. Последний снимок Децкая, с извинениями за сына, поспешно изъяла. Сенькевич, однако, возразил, что это интересно, тем более что женщины красивы. Теперь рассказ Ванды Геннадьевны обретал зримые черты; Сенькевич словно сам побывал на том лугу, среди гостей, и с многими познакомился — увидел брата Децкого, и друзей по работе, и друзей дома, и доктора Глинского, и директора одного магазина, и научную сотрудницу какого-то института истории. Люди были как люди, особого интереса не вызвал никто, потому что прибыли в Игнатово поездом, который ушел с вокзала в девять пятьдесят, то есть когда преступник только-только вышел из сберкассы; большее внимание он уделил Адаму Децкому, ибо тот приехал своим транспортом; но сильнее всего заинтересовала Сенькевича дача, сам дом, строение. Оно оказалось вовсе не той крохотной халупой, которые сотнями стоят впритык на территории обычных садоводческих кооперативов. Предстал ему на снимке домина по меньшей мере в четыре комнаты и с мансардой, и участок, судя по ряду примет, занимал не четыре сотки, как отмеряется простым смертным, а старого образца был участок — в соток двенадцать или шестнадцать. Основательность постройки, масштаб сада напрочно утвердили Сенькевича в мысли, что снимать деньги, впутываться в скользкое, опасное вранье владелец такой дачи, и такой квартиры, и машины не осмелится никогда, это ему совсем не нужно. Равно не станет он втягивать в такую аферу приятеля, рисковать большим ради меньшего; вообще такая идея не может у него возникнуть. Из этого следовало, что есть, разгуливает на свободе ловкий, умный, дерзкий преступник.

Последующую часть разговора, касающуюся одежд Децкого, излагать, видимо, не стоит: читателю известно, что серый костюм и шляпу вор нашел в прихожей; важно только отметить, это отметил себе и Сенькевич, что снимать рабочий костюм в прихожей и одеваться здесь в шлафрок было правилом Децкого, о котором знали все близкие дому люди. Вообще, из вопросов, завершавших беседу, существенным оказался один: о назначении вклада.

— Почему Юрий Иванович клал деньги на книжку, но никогда не снимал? спросил Сенькевич.

— Ну, острой нехватки не было, — объяснила Децкая. — И потом Юра относил в кассу деньги редко, раза два в год, не чаще, когда приходили крупные суммы — тринадцатая или оплата за рацпредложение. Этот вклад мы решили для Саши — на свадьбу, чтобы начинал жизнь не с нуля, как нам пришлось.

До Сашиной свадьбы оставалось никак не меньше десяти лет; Сенькевич прикинул, что за такой срок свадебный подарок обретет вес редкого состояния.

— Хорошо иметь заботливых родителей, — сказал он.

Децкая загордилась от сглаза:

— Вырос бы только толковым, а то, не дай бог, выйдет мот и гуляка.

— Родители бережливые, — заметил Сенькевич, — отчего же сыну стать иным.

Программа посещения была выполнена; Сенькевич отправился домой. В троллейбусе ему повезло даже сесть. Под мерный бег машины он думал о том, кого потребуется включить в круг подозреваемых, и об условиях, которым подозреваемые лица должны соответствовать. Условий таких он, загибая пальцы, насчитал шесть. Вор обязан был знать, что Децкий держит на книжке крупный вклад, что пополняет его редко и потому лицо его в сберкассе не примелькалось. Имели значение и внешние данные: раз он воспользовался костюмом Децкого, а в этом убеждало свидетельство кассирши, то он приблизительно равен Децкому статью. Еще для той точной работы, какую произвел вор, ему требовался доступ или, как меньшее, какой-либо подступ к ключам, а такая доступность ключей полагала прямую близость вора к семье Децких — к мужу или к жене. Тут невольно возникало подозрение: не имеет ли Ванда Геннадьевна любовника, какого-нибудь шалопая, способного отплатить за добро злом, за любовь — гадостью. Само собой напрашивалось высказанное Децким подозрение на контролершу сберкасс. Каким-то образом, а каким, Сенькевич еще не видел, придется проверять ее знакомства и знакомства других работников кассы, и вообще всех, кто знал о вкладе и мог содействовать преступлению, если не лично, сознательно, то случайной болтовней о богатом вкладчике, неизвестном в лицо по причине редких явлений, который не снимает, а копит. Огромный объем и кропотливость предстоящей работы вызвали у Сенькевича тоску, и он пожалел, что сам, собственным порывом взял на себя это грозившее быть долгим и изнурительным расследование.

Но по выработанной привычке не приносить в дом служебные неприятности Сенькевич, сойдя на своей остановке, отключился от следственных раздумий и пошел

домой с радостным чувством встречи с дочкой, женой, свободного вечера, приятных семейных дел.

В это время Децкий и Павел вели беседу, которая и по сути, и по форме предельно Децкого раздражала. Занесло их в какой-то грязный, не тронутый благоустройством сквер; по скорости, с какою Павел отыскал скамеечку в укромном месте, Децкий понял, что приятель его здесь частый гость. Скверик был сугубо мужской; там и сям виделись Децкому компании разной степени опьянения, в одной уже и дрались, и он сидел в напряженном ожидании ежеминутного прихода милиции, дружинников и необходимого от них спасения бегством. Как и у всех прочих людей в этом скверике, так и у них была бутылочка вина; друзья поочередно из нее отпивали, и Павел несколько раз говорил: "Хорошо, Юра, правда!" Децкий хоть и поддакивал, но в душе бесился, чувствуя себя от сидения в центре этого злачного и опасного места не только не хорошо, а совсем гадко. Но бросить товарища и уйти домой он боялся: Павел был в пугающе небоевом состоянии воли, и Децкий стремился его волю мобилизовать. Еще в пять часов, когда замолкли в цехе станки, прибежал в страхе Петр Петрович и сообщил, что Павлик развесил сопли, пророчит воздаяние за грехи и заслуженную гибель. Децкий тотчас нашел Павла; вместе вышли с завода, и у заводской стоянки Децкий предложил поехать к нему — прокоротать вечер за бутылкой, как в добрые старые времена. Ехать куда-либо Павел категорически отказался, объяснив, что ему хочется погулять по родным улицам, посмотреть на знакомые дома, подышать воздухом городских садов — ведь бог знает, как скоро лишат их воли, может, завтра. Ни малейшего желания бродить по улицам и садам у Децкого не было; наоборот, хотелось ему домой, в кухню, хотелось закрыться там и обдумать все неожиданные события, прозреть их следствия, но капитулянтская настроенность Павла не разрешала оставить его без надзора. Децкий, скрепя сердце, отправился на противную ему прогулку. К тому же и машина оставалась на стоянке, что налагало заботу вернуться за ней позже. Скорее всего, Децкий не подчинился бы дурацкому капризу приятеля, если бы чувствовал в нем страх, но вот именно испуга, страха суда, тюрьмы он в Павле не видел, а видел какое-то монашеское смирение, овечью покорность, религиозную готовность к страданию, к несению креста, к ручному труду в местах отбытия наказания. Он и говорить стал отвратительными Децкому словами смирения. Только отошли от стоянки, как он громко и глупо объявил:

— Да, было время жить, пришло время умирать!

— Умрешь, не волнуйся, — ответил Децкий, — все умрем. Но еще рановато.

— Уже умерли, — опять как-то по-старчески сказал Павел. — Живые трупы. На машинах носимся по земле, жрем, пьем, а вовсе не люди.

— Ну, конечно, — злясь, возразил Децкий, — подонки!

— Да, отребье, — кивнул Павел. — Накипь! Карманники. Ржавчина! Просто шкуры!

После этих слов, резавших слух Децкого, он оживился:

— Ты, Юра, и не знаешь, как опротивела мне наша жизнь. Проснусь ночью, лежу, сам себе не верю. Неужели, думаю, это я, добрый и честный Паша, теперь — прожженный вор, своих же рабочих обворовываю каждый день. Для того ли я родился на белый свет?

— Ты потише бы говорил, — оборвал его Децкий. — Людно тут.

— А и мы были люди, — стихив голос, продолжал Павел. — Помнишь, пришли на завод: двигать прогресс, изобретать, рационализировать, улучшать — о чем только не мечталось, и были же неплохие инженеры. И куда все ушло, к чему мозг приложили — к воровству. Что осталось? Оболочка — а в ней грязь. Ты с этой сукой Катькой спутался — погиб, потом я черту продался...

И на лице, и в глазах приятеля выражалось, видел Децкий, это неуместное, искреннее, самоубийственное раскаяние. С такой мордой только к майору Сенькевичу и прийти, тому и спрашивать не придется — читай по лицу, как по письму. Вот же плаксивый гад, подумалось Децкому, и возникло у него сильное желание врезать кулаком Павлу в глаз, чтобы опомнился. Но не то что бить, а и резко спорить Децкий себе не допустил, а сказал, целя в больное место — в ответственность перед детьми:

— Замазались мы, верно, но дети — о них-то никто другой не позаботится.

— Это так, — согласился Павел. — Но мне и дома стало невмоготу. Заврался. Вера чувствует, что занимаюсь чем-то дурным. Вглядывается, тоскует, вздыхает: "Ой, Паша, Паша, что ты делаешь!" И Димка стал коситься, чувствует чистым сердцем, что папаша — паскуда и вор. Эх, Юра, — воскликнул он вдруг сердечно, — начали каяться, так давай по славянскому обычаю возьмем бутылку да выпьем... Я один не пью, ты, вижу, думаешь, что я в одиночку спиваюсь. Нет, не пью, то есть не пью крепко. Боюсь, Юра, боюсь, что пьяным выболтаю все это во сне на ухо Вере. Пью — да умеренно, граблю да осторожно. Все краешком, краешком, чтобы не упасть. Устал! Надоело!

Децкий понял, что нельзя отказаться и отложить, и согласился:

— Ты прав, выпьем, пошли в ресторан.

— Да ну их, рестораны эти вонючие, — отмахнулся Павел. — Жрут, скачут, как козлы, рожи какие-то сальные, ненавистные, тошнит меня там. Давай как люди.

Децкий подумал, что последует приглашение к себе, но ошибся, приятель решительно завернул в ближайший гастроном, где взял две бутылки вина, закуски же хоть самой скудной брать не подумал, и с этими двумя бутылками явились они в описанный выше скверик. По дороге на Павла напал зуд сравнения себя и Децкого со скотами: "Свиньи мы! — говорил Павел. — Клопы, Юра. Гниды в костюмах!" — и пришлось тихо внимать всем этим гнуснейшим метафорам.

Уже тут, на поломанной скамейке, когда распили первую и пошел по крови хмель, Павел сказал:

— Я себя разлюбил, но и вас всех не люблю, даже тебя, хотя раньше крепко любил, сильнее, может, чем Веру, разве Димку одного сильнее, а сейчас гляжу на наши довольные, тупые хари, вижу бесстыжие свиные глаза — и гадко мне, такое все время чувство в животе, будто рвота подходит и задушит меня. Суета это, финты, выменивание квартир, дачи и гарнитурчики, собирание золота, стекла, дерьма всякого... А книги! — воскликнул он. — Книг насобирали, словно философы, все стены покрыты книгами. Как-то захожу к Катьке — развалилась на тахте, читает. Я даже поразился, что эта стерва читать еще не разучилась. Что ж, думаю, ты читаешь. Эдгара По она читает, переживания испытывает. Мне жутко стало. Тот, наверно, в гробу кричит, что всякая сволочь его книги читает — не для воров писал, а вору достается. И ты читаешь, и я почитываю. Но какой прок? Читаем о честности, о страданиях, о душе, а у самих в мозгу — деньги, жратва, тряпье, а сами посасываем кровь из работяг. Как увижу какого-нибудь бедно одетого человека — завидую ему. Вот, думаю, счастливец, совесть чистая. А мы в дерьме, только другим это не видно. И что всего хуже, Юра, уже не отмоешься...

Ни с одним словом Децкий внутренне не соглашался; про себя он возражал и находил веские примеры в истории, когда такой-то всеми уважаемый был работорговцем, а другой — помещиком-крепостником, а третий — рантье, а пятый — в любовниках добывал себе хлеб и славу. Вообще, в принципе, думал Децкий, от той пуританской честности, какая не разрешает поднять на дороге копейку, ибо не твоя, веет больше глупостью, чем умом; в настоящей жизни нормальный человек все должен испытать — и риск, и достаток, и вертеться должен уметь, и приспособливаться к условиям, а совесть — при чем тут совесть? — на улице с ножом они чужое не отнимают, все достается работой ума; пашут и они на своей ниве, не меньше земледельца потеют, даром им не дается, но не их вина, что нива эта запретная. И еще ряд подобных мыслей проносился в голове, но Децкий молчал, не отвечал, сознавая, что попусту станет возражать, что все говоримое Павлом выстрадано и обдуманно давно. А настроился он так думать потому, что он — другой человек, человек другого склада — тихого, пуританского, покорного

обстоятельствам, овечьего, склонного к терпеливости и самомучению. Впутался же он в дело, которое требует натуры мощной, подвижной, артистической, боевой. Так где же Павлу взять силу, если внутри нет. Благодать ему нужна, мир, спокойствие, сознание, что он как все. Пережитки это религиозные, подумал Децкий, так боится, будто с небес за ним следят и грехи замечают. Сердце слабое; сорок лет прожил, а сердце детское: страшно, что мама узнает, что жена ахнет, что товарищи скажут: "Ты, Паша, плохой человек".

Начали пить вторую. Вино было паскудное, самый дешевый портвейн; ничего более мерзкого уже много лет в рот к Децкому не попадало, он пил вино с отвращением, как хлористый кальций, но не ловчил, прикладывался к горлышку наравне, даже подольше, чтобы Павлу этой отравы воли досталось поменьше. Слушая о страданиях души приятеля, Децкий напряженно думал, что бы этакое успокоительное, действенное ему сказать, что заглушит унижительное самокопание и вернет бодрость, волю к сопротивлению. В плач Павла перед следователем, в предательство его не верил, но в нынешней ситуации душевная угнетенность, пассивность тоже были вредными — мямление, невразумительные двусмысленные речи, явная внутренняя горечь могли дать в руки следователю, если случится им говорить, то, что равноценно признанию. Наконец догадался: Павлу нужна как воздух, надежда на новую жизнь, убежденность, что честным трудом и поведением исправит свои прошлые проступки перед людьми. Децкий обрадовался и заторопился сказать:

— Не хотел, Павлуша, раньше выбалтывать, но, раз откровенничаем, открою: собираюсь уволиться, только в отпуск хочу сходить; так вот я рекомендую тебя или на свое место, или во второй сборочный, уже обговорено и с главным, и с директором, — и видя, что приятель внимает, Децкий объявил суть: — Петра Петровича снимают со склада, вся цепь рвется, старым делам конец.

— А завтра придет Данила Григорьевич и скажет "дай", — сказал Павел. И будет настаивать.

— У Данилы, говорю тебе точно, есть свои неприятности. Ему тоже надо уносить ноги. А ты за два месяца поставишь свой порядок работы.

— Что же ты раньше молчал? — с подозрением спросил Павел.

— Сюрприз для тебя готовил, — ответил Децкий.

Приятель замолк, взгляд его устремился в даль неба, может, он уже увидел себя в цехе в новом качестве, в стараниях, в новых отношениях с людьми, в трудовом рвении; лицо его разгладилось, просветлело, и Децкий понял, что слова его попали "в десятку". Конечно, взрыва радости ожидать было бы смешно, но какая-то отдушина для

измученного сердца открылась и какие-то радужные планы в отношении будущего у него возникли. Для начала и это было хорошо.

Децкий поднялся, сбил палкой несколько диких яблок, поделился с приятелем и стал излагать свои тезисы о недоступности их дела раскрытию. "Есть одно уязвимое место, — заключил он, хлопая себя рукой по груди, — это вот — дрожание сердца. Улик нет, так что упаси тебя бог, Павлуша, от глупости чистосердечия. Себе жизнь сломаешь, семью загонишь в тиски нищеты и всех других поведешь за колючку. До пенсии двадцать лет — трудись".

— Я себе не враг, — отозвался Павел.

— Никто себе не враг. Разве я себе враг, а вот же сморозил утром. Думай, не сглупи.

— Постараюсь!

В таком духе друзья проболтали еще полчаса и расстались в самых добрых чувствах: один пошел домой, вроде бы обнадеженный светлыми переменами, другой отправился за машиной, довольный своими успехами в укрощении. Эта радость отважила Децкого на езду "под мухой". Но густым был вечерний поток машин, и никто не остановил его, хоть и достаточно «гаишников» стояло на перекрестках.

Дома Децкого встретило ошеломляющее известие о визите следователя. Он потребовал от Ванды вспомнить беседу с Сенькевичем дословно, во всей последовательности вопросов и во всей полноте ответов. Направление следовательского интереса отгадалось легко, и Децкий успокоенно и с чувством некоторого умственного превосходства сказал себе: "Талантливый!.. Что-то не видно особого таланта. Самая заурядная логика".

Стараясь перебить зубной пастой привкус дрянного вина, он думал о следователе: пусть проверяет, пусть спрашивает доктора Глинского. Это к добру, время даст. Но став под душ и согнав с мозгов липкую одурь, какую нанес туда дешевый портвейн, Децкий увидел действия следователя уже иначе и с досадою признал, что тот временем следствия дорожит. Позвонив завтра утром Глинскому, он убедится в невиновности его, Децкого, и возьмет для обдумывания другую версию, обвинит кругом подозрения всех знакомых дома, тем более что осел Сашка подсунул фотографии, а Ванда, эта набитая дура, вместо того чтобы отправить сына с глаз долой на улицу, сделала пояснения. Децкого буквально морозом протянуло: ведь на снимках присутствовали все, ну пусть не все, пусть мелких человечков не было, но главные все стоят плечом к плечу. Завод — склад — магазин, производство и сбыт, а главное, и гадать не надо, где сбыт, где посредники, вот они — в

лице Данилы Григорьевича и Петра Петровича, отправляй к ним ревизоров и бери в оборот. И самое простое дело — проверить номенклатуру товаров по магазину и по Пашиному участку: там замки — тут замки, там ситечко чайное — тут ситечко чайное. Было отчего проклясть и прием гостей на купалье, и дурацкий языческий костер, и подаренный сыну фотоаппарат, и вздорное, по деревенской моде позирование толпой на лугу, и в саду, и на фоне дачи. Сходились сейчас в кучу многие глупости, сделанные в разные годы; припоминая о них, Децкий чертыхался: и дачу следовало купить через подставное лицо, и вовсе ни к чему было заводить сберкнижку, и намного раньше следовало прикрыть это дело, а взяться за лучшее, и все эти походы друг к другу, встречи семьями, афиширование знакомств выходили теперь боком.

"Но и следователь — человек, — успокаивая себя, думал Децкий. — Не больше у него ума, чем у нас".

Децкий обернулся махровой простыней, прошел в спальню, плюхнулся на мягчайший импортный матрас и вообразил себя следователем. Следователь, по его мнению, мог составить себе три версии воровства: первую — деньги снял Децкий; вторую — деньги и облигации похищены знакомыми контролерши; третью — деньги и облигации похищены знакомыми Децких. Первую уже можно было считать отвергнутой; долго ли, коротко ли следователь откажется и от второй; останется разыграть третью, и следователь начнет составлять список лиц, имевших доступ в квартиру или отношение к семейным делам. У Децкого из живых родственников оставался только брат. Вся родня Ванды обитала в Гродно, о книжке они слыхом не слышали, да и виделись последний раз в позапрошлом году. Кто-либо из соседей мог, конечно, спланировать и провести ограбление квартиры, но операция с подделкой ордера была бы для него экспромтом. А вор спланировал именно снятие денег с вклада; тут все было учтено — внешность, костюм, борода и усы, роспись, возвращение книжки на место и уверенность, что Децкий смолчит. Из знакомых Ванды никто не знал даже приблизительно, как поступают к Децким большие суммы; сама Ванда не знала и не догадывалась про источник благополучия; и для жены, и для ее подруг он, Децкий, был преуспевающий инженер, конструктор и изобретатель. Но следователь, вел свое рассуждение Децкий, неминуемо обязан включить в свой список и знакомых Ванды — их хоть и немного — три-четыре дамочки, но все же потребуются дни для установления их честности.

Каково бы ни оказалось начальное число подозреваемых, оно, думал Децкий, постепенно уменьшится, останутся в нем лишь те, кто имел случай увидеть книжку или знал о ней и для кого существовали причины или соображения возвратить ее в чемодан. Но более других знали о нем, о книжке, о его привычках те люди, которые съехались на

дачу смотреть купальский костер. И тут Децкий почувствовал перебой в сердце, мгновенное мертвение всех своих нервов, и в него вошло неопровержимое уже убеждение, что вор скрывался среди купальских гостей. Все были мошенники, одного Адама отстранил Децкий от подозрений. Но подумав, он отказался брать на веру и доказанную мытарствами святость брата — всякое могло случиться и с ним, и такое могло с ним случиться, что подтолкнуло на рискованное дело. Но еще подумав, Децкий решил в честности брата не сомневаться — Адам, конечно, и мысли не допускал, что брат его Юра способен жить на ворованное и держать ворованное в сберкассе.

Но все прочие, думал Децкий, вполне горазды. Способен был цапануть двенадцать тысяч Данила Григорьевич. И Виктор Петрович тоже несколько раз бывал в доме. Мог приложить руку коллекционер Олег Михайлович. Сам он мало что знал, Децкий никогда с ним о своем деле не делился, но трепло-Катя могла болтануть лишнее в постели или же, дрянь, и надоумила, где легко разжиться денежками для приобретения разных ножичков и штыков. Складская крыса Петр Петрович также мог взвесить все «за» и «против» и отважиться на открытую уголовщину, зная, что возмездие не грянет.

В группу возможных злоумышленников ввел Децкий и Павла. Уж Паше, думал он, вся подноготная известна, и в доме бывал почаще, и книжку держал в руках, и рассчитал, поди, что трудно Децкому заподозрить в таком свинском поступке единственного старого друга. А все эти стоны о погибшей душе, о страданиях за обман рабочих, о бессонных ночах, кошмарах и прочая дребедень — все это простые словесные фокусы. Десять лет не страдал, про обворованных рабочих не думал, получал свою долю, как зарплату, без причитаний, и вдруг совесть прорезалась, книги застыдилась читать, чистые костюмы носить, пить из хрустальной рюмки.

"Странно!" — подумал Децкий, но восклицание это относилось уже к другому, к тому, что Павел пил. Поверху вроде бы и сходилась: совесть заканючила, начал глушить ее винцом и втянулся, но странным показалось Децкому, что еще год назад Паша не пил, во всяком случае, никто этого не замечал, и вдруг — что ни день — запашок, противный, за сажень слышный запах «чернил». Да, хорошо финтил Паша, открылось Децкому. Незаметно, простенько, но прочно вел к увольнению. Одно дело, когда увольняется трезвенник. Куда? Зачем? Какой повод? Другое — пьяница подает заявление. Всем и радость. Уволился — и исчез. И компаньоны довольны — пьянчужка из игры выбыл, меченая карта ушла, слава богу, что выбыл, а то опасен становился — вдруг потянет на скамейке в том скверике похвалиться или покаяться друзьям-алкоголикам.

Мысль эта поразила Децкого, он вскочил и болезненно засновал от окна к двери. В один миг верилось — Паша, в другой — душа восставала против. Нет, не Паша, твердил

себе Децкий, кто угодно, только не он. Допустилось даже, что Катька надела его костюм и пошла в сберкасса, хоть никак не могло этого быть. Если уж Паша решился грабить меня, думал Децкий, тогда никому на свете нельзя верить. Но и хотелось, чтобы похитителем был именно Паша. Черт с ними, с тысячами, думал Децкий, зато вся цепь без изъянов, все будут свистеть следователю Сенькевичу, и Паша покрепче всех остальных. Однако сердце, интуиция шептали Децкому, что Паша непричастен, что такой человек, как Паша, не может переродиться в шакала, что мучения его искренни и пьет он не напоказ. Но облегчения эта внутренняя уверенность не принесла, потому что возрождался страх перед теми опасностями, какие способен создать пьющий и слабовольный человек.

В прихожей зазвонил телефон. Ванда сняла трубку, поговорила минуту и крикнула: "Юра, иди. Катя!"

— Где ты застрял после работы? — с укором сказала Катька. — Я звонила тебе в шестом часу.

— Пьянствовали с Павликом.

— Нашел с кем.

— "Чернила" пили. В сквере. Из горлышка.

— Настоящие мужчины, — сказала Катька. — В вытрезвитель захотелось на экскурсию, да?

— Паша хандрит, надо было успокоить.

— Знаю. Петр Петрович уже звонил, плакался. Не думала, что Паша трус.

— Хуже, — сказал Децкий. — Помнишь песню Шаляпина про Кудеяра. Совесть господь пробудил.

— А ты уснул. Вином?

— И вином.

— А сам-то хоть трезв?

— Как младенец.

— Ну, так скажи, у тебя все в порядке?

Последние слова Катька выделила. Децкий тоже подчеркнуто сообщил:

— Там все в порядке.

— Может, приедешь, развлечешь меня? — спросила Катька.

Децкий на миг заколебался, но желание думать о своем деле пересилило:

— В другой раз, дорогая. Не до того, сама понимаешь.

— Скучные вы все, — вздохнула Катька. — Пока.

Нажав на рычаг, Децкий невольно, без дела, набрал номер Павла. Трубку долго не снимали, прогудело не менее восьми гудков, пока послышался голос Паши.

— Как ты там? — спросил Децкий.

— Да так, нормально, — ответил тот со странной заминкой, и Децкого кольнуло, что Паша пьет. Но тут же заминка объяснилась: — Масло там горит. Перезвоню позже.

— Ладно, спасай, — сказал Децкий и положил трубку.

Успокоившись тем, что Паша дома и занят хозяйственными делами, Децкий сказал себе: "Но вернемся к нашим баранам" — и вновь пустился шагать между окном и дверью. Многие знали о книжке, думал теперь Децкий, но никто, кроме Павлика, не знал суммы. Могли лишь предполагать: может, две тысячи, может двадцать. Никогда на эту тему не говорилось. Разумеется, какие-то сведения в случайном виде переходили от одного к другому, как, например, он, Децкий, понял однажды из нечаянных Катькиных слов, что Данила Григорьевич хранит деньги где-то у себя на даче; а где — гадайте: в погребе, под любой из двадцати яблонь или под дубом в ближайшем лесу. Децкий подумал, что в этом вопросе все стараются темнить, молчать, недоговаривать. Вот сколько уже он знаком с Катькой, а затруднится даже предположить, где держит она свои сбережения: дома? на даче? на книжке? у престарелой матушки в Ленинграде?

К таинственным относился и вопрос о ключах, но здесь Децкий строить догадки не стал — изготовить ключи проблемы не составляло: ходили друг к другу в гости, снимали пиджаки, на работе пиджак часто висел на стуле в пустом и открытом кабинете. Децкий подумал, что задайся он целью владеть копиями ключей от квартир всех своих знакомых, то через неделю-вторую держал бы на кольце полный комплект.

Не поддавалось постижению и главное — причина этого злого, предательского выпада. Мотив обогащения казался Децкому недостаточным; простые воры так выборочно не воруют, а вору непростому, своему, надо было руководствоваться и непростой целью. Децкий сновал взад-вперед, пока не ощутил унылой тупости в голове, перегрева мозгов, что часто испытывал на работе при неверном решении конструкторских задач. Применяя свой инженерный опыт, он решил поискать иной подход, какие-то новые, не замеченные раньше, сопряжения людей в этом деле.

Децкий вновь лег на кровать и вообразил себя вором. Вот он в квартире, вот добыта книжка, вот найден паспорт. А дальше? Сберкасса открывается в девять, но идти к открытию, стать первым, самым приметным посетителем вору не с руки. Очередь была, вспомнил Децкий слова кассирши, он получил деньги около десяти. Пусть без двадцати десять. Поезд на Игнатово уходит в девять пятьдесят. Десять минут разбежки. Вор же возвращается в квартиру, прячет книжку, переодевается. Электричка уже в пути. Однако в Игнатово с поезда сошли все. Тут Децкий поправил себя: это на дачу пришли все вместе, но вместе ли они ехали? Где встретились? На вокзале? В поезде? На дачном перроне?

Неизвестно. Даже на такси, на своей машине он не мог успеть к поезду. Кроме того, оставлять на два дня машину без присмотра не решится никто, даже вор. Добыть двенадцать тысяч, а семь потерять, да еще истратить нервов на тысячи две — такая овчинка выделки не стоит. Вряд ли вызывал вор и такси. Заметно и памятно. А вор старался быть неприметным. Тихо входил, тихо выходил. Вызов же такси на дом — это навечная запись номера машины, это свидетель, способный описать настоящую внешность вора. Нет, не мог вор, думал Децкий, вызывать такси, но и без машины обойтись ему никак не выходило. Если вор из своих, то в той ситуации, утром купальского дня, ему оставался единственный выход — обогнать поезд любым другим видом транспорта и в Игнатово смешаться с толпой выходящих пассажиров. Рейс субботний, вагоны набиты до отказа, так что встреча на остановке выглядела вполне убедительно.

Этот итог раздумий порадовал Децкого. Мысль его, чувствовал он, шла правильно, прямо по следам хитрости вора.

Децкий, не откладывая, созвонился с Катькой и выложил свои вопросы.

— Да зачем тебе? — удивилась Катька.

— Потом объясню.

— Ну пожалуйста. Мы с Олегом ехали где-то в среднем вагоне, а в каком — не помню, не считала. С нашими встретились на твоём перроне.

— С кем из наших? — спросил Децкий.

Катька перечислила — были все.

Затем Децкий набрал номер Павла. Тот опять долго не подходил, а когда взял трубку, то добрую минуту молчал, только странные какие-то звуки слышались Децкому, словно на том конце провода сдерживали смех. Децкий раз, наверное, десять прокричал: "Алло, Павел!" — и кричал бы еще, но Ванде надоело: "Ну, что ты орешь, как попугай!" Децкий в сердцах грохнул трубку на рычаги.

Утишив гнев, он позвонил Даниле Григорьевичу. Говорить пришлось с женой, сам Данила отсутствовал; Децкий счел это и лучшим. Болтанув пару фраз о здоровье, он перешел к своему делу.

— Мы сидели в первом вагоне, — был ответ. — Данила Григорьевич хотел пройти поискать знакомых, но народ раздвигаться не хотел.

Разъединившись, Децкий решил позвонить Виктору Петровичу и уже поднес к диску палец, как аппарат разразился длинным и громким звонком. «Павел», подумал Децкий и не ошибся.

— Юрочка, ты прости, — заплетающимся языком говорил приятель, — я грешен, выпил вот, знаешь, наш разговор взволновал... Боялся тебе отвечать, вдруг не поймешь, поймешь неправильно, превратно истолкуешь — мол, пьяница, но ты ведь поймешь?

При этих словах почудилось Децкому, что из трубки, как из самогонного аппарата, полез гнусный сивушный душок. Раздражение Децкого перешло в ненависть.

— Завтра поговорим! — рявкнул он и положил трубку.

"Нет, этот гад всех завалит, — с безысходностью подумал Децкий. Скотина! Алкоголик! То он с горя надуется, то с радости напьется. И сплавить его некуда, свинью слабодушную. Хоть убей!" Досада его не находила выхода и росла. Да что ж это, думал Децкий, невозможное можно сделать, все следы замести, документы выправить, концы в воду спрятать, полтора десятка людей сплотить для единогодушного отпора, а одна такая гадина, червь подзаборный, выпьет пол-литра — и все усилия, все мечты, планы, благополучие, мужество и упорство многих людей обратит в ничто: выпьет на рубль двадцать, а выболтает на сорок тысяч. Все ему скучно, одно в радость — хмель да похмелье. Что ж с ним делать? Что, что, что?"

Внезапно, без видимой связи с тем, что думалось Децкому о Павле, из далеких глубин ума выплыла страшная из-за реальной своей точности мысль: соседка Валерия Леонтьевна умерла не своей смертью, как решил врач "скорой помощи", ее убил вор. Децкого прозвонило от этой мысли, от вставшей перед глазами картины смерти. Они вернулись с дачи вечером в воскресенье — крышка гроба стояла на площадке у соседних дверей, и чуть позже зашел сын покойной старухи и рассказывал: мать вчера утром, по обычному своему правилу, вышла гулять, и они видели в окно, как она сидела на скамейке; потом ее не стало во дворе, и он решил выйти ей навстречу на лестницу, открыл дверь, а она лежит на площадке навзничь, сердце еще работало. Прибыл врач, спросил, сколько лет, чем болела, услышал про семьдесят восемь лет и высокое давление и только вздохнул. Да и что тут сделаешь: упала, ударилась, кровоизлияние. Полчаса еще пожила — и все, нет Валерии Леонтьевны.

Но не так, не так было, прозревал сейчас Децкий, он ее в гроб свалил. В десять часов это произошло. Почему же именно в этот день и в это время закружилась ей голова и она упала, и тут, на площадке четвертого этажа. Почему не на третьем, не в девять или в одиннадцать, не в пятницу или воскресенье, а точно в те минуты, когда покидал квартиру вор. Нет, не бывает, думал Децкий, чудес такого точного совпадения, чтобы он выходил, а Валерия Леонтьевна в этот самый момент падала головой на плиты площадки. Это он ее саданул, испугался, что облик запомнит. Одуванчик перед ним стоял, вор махнул — пушинка жизни осыпалась.

"Убийца!" — осознал Децкий, и стало ему жутко. Нет, не свой, не свой, не из наших, заторопился думать Децкий, наши на жизнь ради денег не покушались, не разбойничали, никто так не мог. Но и было понятно, что каждый мог: не ради денег, ради них не рискнул бы на такой грех, но ради своей жизни, своей воли, своей полной безопасности. Жизнь за жизнь. Спасал свою — убил другую. Был вор, стал душегуб.

Угнетала эта мысль, и Децкий, отыскивая равновесие, сказал себе: "Ну, разыгралось воображение. Кто видел, кто знает. А вдруг случай. Что ж тут невозможного. Восемьдесят годков было Валерии Леонтьевне. Едва двигалась. Пиявки дома держали наготове всегда. Зверем надо быть, чтобы такую старушку ударить". Старательно убеждал себя Децкий, но в душе откладывалось и запоминалось: вор — зверюга безжалостная, настоящий волк, кровью обмылся...

Зазвонил телефон.

— Алло! — сказал Децкий и с отвращением узнал пьяный голос Паши.

Тот старательно, как иностранец, выговаривал слова:

— Не вешай трубку (тебя бы повесить, подумалось Децкому). Ты думаешь, я пьяный. Нет, Юра, я трезвый...

— Ну, если ты трезвый, — не скрывая злобы, сказал Децкий, — то ответь: в каком вагоне ты ехал 24 июня, кого из знакомых видел в поезде или на вокзале?

— Мне болела голова, — медленно отвечал Павел. — Я ехал, высунув голову в окно, и кого-то я не в поезде видел...

— Кого, кого? Где? — закричал в трубку Децкий.

— Сейчас! — пообещал Павел и замолк.

— Вспоминаю! — сказал он вскоре.

— Кажется, было что-то интересное, я даже удивился, — сообщил он еще через минуту.

— Что интересное? — изнывая, настаивал Децкий. — Не тяни ты kota за хвост...

— Ага, видишь, и я пригодился, — восторжествовал Павел. — А ты вешал трубку. Сейчас припомню...

И вновь Децкий тягостно ожидал, в мыслях ругая приятеля пьяной свиньей.

— Что-то вертится в голове, — сказал Павел после изрядного молчания, какая-то странная штука, сейчас нащупаю...

— Это шарики у тебя вертятся от водки, — взбешиваясь, объявил Децкий.

— У меня шарики не вертятся от водки, — возразил Павел, но Децкий не захотел более слушать пьяный вздор и разъединился.

Не внесли ясности и рассказы Виктора Петровича и Петра Петровича: один ехал в заднем вагоне, другой — в серединке, каждый особняком, объединились с компанией в Игнатово. Оба были с женами, и Данила Григорьевич был с женой, а Катька была с любовником. Но свидетельству жен, думал Децкий, грош цена, вранье для пользы семьи и мужа в грехи не идет. Вот сколько раз Ванда отвечала и по телефону и в лицо разным уважаемым людям, что он болен, а он в это время на даче рыбу ловил. И все верили, а если не верили, то делали вид, что верят, потому что — неоспоримо. Равно и тут: свидетелей нет — плети что хочешь. Говорится: ехали, а на самом деле поездом ехала жена, а муж мчался машиной. Но не составляло труда выгородить мужа и в электричке, если бы вдруг подошел кто-либо из своих и спросил, например: "А где Виктор Петрович?" — "А он пошел по вагонам вас искать!" Поди проверь в тесноте. И конечно же, ехал вор не на собственной машине: на своей обгонять поезд рискованно и где-то надо ее бросить на два дня. И попуткой едва ли вор мог воспользоваться: семейные попутчиков не берут, а служебные машины в субботу не ходят. Единственное, что оставалось вору, — нанять такси и проехаться с ветерком, не волнуясь о показаниях счетчика — чужими платить не жалко. Но если найти таксиста, подумал Децкий, гонявшего утром двадцать четвертого числа в Игнатово, и показать ему снимок, то загадка воровства получит разгадку. Сразу сложился план, как искать такого водителя. Исполнение его Децкий наметил на девять часов утра.

Децкий повеселел, пошел в гостиную и прилег возле жены смотреть телевизор. Показывали исторический фильм; на экране сшибались две кавалерийские лавы; люди махали саблями, рубились, кричали, кони храпели, падали, перекатывались через людей. Затем экран заняла толпа пленных, их пригнали на край оврага и стали убивать из винтовок.

Жестокая эта сцена поставила Децкого в тупик: как он должен поступить с вором? "Да, как?" — спрашивал он себя, совершенно не представляя кары. Милиции, думал он, просто — дело в суд, суду тоже просто — по букве закона, а он, Децкий, — частное лицо, исполнителей и тюрьмы не имеет, а все должен сам: и судить, и привести в исполнение. Убить следовало бы мерзавца, подумал Децкий. Только легко сказать: убить — а где? Чем? Был бы пистолет, винтовка — тогда легко, но как их взять, где купить, кто продаст? И цианистый калий пуще золота бережется. Ножом? Кирпичом? Самому можно загреметь, и уж тогда все разматают и по совокупности на всю жизнь прикуют, а то и сразу на тот свет переселят. Придумался и лучший вариант: потребовать возврата денег и компенсацию за нервотрепку и розыск — в половинную стоимость похищенного. Однако, видел Децкий, этот туманный вариант строился на песке: угрожать вору передачей

сведений о нем и улик в милицию попросту смешно — тот расхохочется в ответ, скажет: давай, давай, иди, иди, там тебя ждут не дождутся. Так все завязалось, думал Децкий, что и впрямь самому ему придется подтверждать липовое алиби вора, лишь бы следствие его обошло. Ну, да что тут терзаться наперед, думал Децкий, сперва надо узнать, а месть — дело второе, много найдется способов отомстить.

И опять наплывали рассуждения, повторялись, получали другую последовательность, и приятели, как мертвецы под скальпелем в анатомичке, раскрывались теми скрытыми свойствами, какие необходимы для хищения и убийства беззащитной старухи. Но никого одного Децкий вычленить не мог, ни на одного не ложилось больше подозрений, чем на прочих, все, по тщательному осмотру, были способны на подобный грех, и все были достаточно хитры, чтобы учесть уязвимые места такой акции и придумать себе защиту.

Тоскливо сделалось Децкому, захотелось поговорить с близкой душой, поделиться, услышать доброе слово и дельный совет, но вышли друзья, никого не осталось, был он один. Не брату же пожаловаться на такую беду. Что он скажет? "Эх вы — паучье!" Скажет и в задницу пошлет. Не Ванде же откровенничать. Обомлеет от страха, пустится причитать, еще и глупость дурацкую завтра добавит. Но хотелось живого сочувствия, и Децкий решил: "Пойду к Катьке съезжу. Она хоть и стерва, да все понимает". Он поднялся и набрал Катькин номер. Телефон ответил, но отозвался в трубку, к неприятности Децкого, голос Олега Михайловича. Вот же сучка, подумал Децкий, не может одна, и спросил по-деловому:

— Катя дома?

— Катюша в ванной, — отвечал сытым голосом Олег Михайлович. — Ей что-нибудь передать?

— Нет, не надо. Завтра позвоню.

Децкий с унынием постоял возле телефона и вспомнил Павла. "Какую он там штуку нащупывал, — подумал Децкий, — что там вертелось в пьяной голове?"

Номер Паши был занят. Децкий пошел в кухню, сварил кофе, выпил и позвонил вновь. Разговор все еще продолжался. "То двух слов не может связать, то трепется полчаса", — подумал Децкий, и эта странность расшевелила в нем прежние подозрения. Он потоптался в прихожей, раздваиваясь между доверием и недоверием, и вдруг решил сейчас же увидеть Павла, лично убедиться, настолько ли он искренен и пьян, как обозначает голосом по телефону.

Децкий оделся и, не объясняя Ванде цель своей отлучки, вышел. До Павла было десять минут езды. Оставив «Жигули» на улице, Децкий прошел во двор и глянул на окна

Павловой квартиры — в кухне горел свет. Шагая через три ступени, он стал подниматься по лестнице, но на площадке третьего этажа остановился. Странное желание возникло у него — выбежать во двор, но он не побежал вниз, а шагнул к окну и посмотрел на двор, на стоявшие гребчатой черной стеной гаражи. То, что он увидел, поразило его: со двора выезжал Павел, машина его — Децкий узнал последние цифры номера — стремительно удалялась от гаражей, мелькнула в полосе света — тут Децкому показалось, что на заднем сиденье есть пассажир, — и скрылась. Первой реакцией Децкого было — догнать, и он бросился по лестнице, но пока выбегал к своей машине улица в оба конца опустела, не горели на ней задние огни Пашиного «Москвича».

"Вот так! — сказал себе Децкий. — Вот и пьяница Павел! Вот и старый товарищ!" Но для твердости нового убеждения Децкий вернулся во двор, оглядел при свете зажигалки ворота гаража — вдруг кража, взлом, но замок висел аккуратненько. Тогда Децкий вбежал на третий этаж и воткнул палец в звонок. Мечталось, желалось Децкому в эти минуты, чтобы дверь отворил и стал на пороге Павел — пусть пьяный, измятый, дурной от водки, но честный, по-старому честный в отношениях к нему. Скоро последние сомнения Децкого погасли, он отпустил звонок и с горьким сердцем поехал домой. Хоть умом Децкий все понимал, но душа противилась принять измену единственного друга, ныла, и Децкий несколько раз звонил Павлу, и всякий раз телефон отвечал короткими гудками. Трубка была снята, понял Децкий, тихий простодушный Павел хитрил продуманно.

Проснувшись, Децкий не вскочил, как обычно, присесть и отжиматься, а пролежал в постели до половины девятого, размышляя, в основном, о Павле. Обнаруженное вечером притворство бывшего приятеля представляло в новом свете все его поведение. Многое, казавшееся раньше признаком или следствием слабоволия, безответственности, глупого романтизма, теперь не без зависти приходилось признавать акциями холодного и дальновидного расчета. Но все же самое существенное — цель, смысл рискованного снятия денег с книжки осмыслению не поддавалось. Исходя из настоящих, нечаянно открывшихся качеств недавнего друга, Децкий положил ему побольше ума и зоркости, чем считалось до вчерашних событий. В таком случае Павел, разумеется, мог пронюхать или отгадать, кто плетет интригу против доходного дела, разрушает сложившуюся систему: производство — склад — магазин. Никакие упреки и укоры в нетоварищеском поведении он, Децкий, конечно же, не принял бы, отверг с возмущением, разыграл бы глубокую сердечную обиду. Так что, думал Децкий, хищение денег преследовало две цели — слегка отомстить и серьезно предупредить; это был

чувствительный сигнал не трогать чужие интересы, не дурить, не рвать цепь. Такими же основаниями мог руководствоваться и Петр Петрович. Возможно, что оба участвовали в операции. Тут возникало множество вариантов, но вязнуть в домыслах Децкий не захотел.

Приняв душ, выпив кофе, Децкий позвонил в цех. Ему ответили, что Павел еще не приходил. Децкий не удавился; прибежит в обед, подумал он, войдет с виноватой мордой: "Старик, прости, заспал". И ведь не соврет, подлец, потому что и верно спит, как соня, после ночных разъездов. С мстительной радостью Децкий набрал домашний номер Павла, но порадовать себя не удалось, а, наоборот, пришлось огорчиться — телефон, как и вечером, исходил короткими гудками. "Ладно, Паша, — решил Децкий, — сочтемся. За мной не пропадет!"

Ровно в девять он позвонил в таксомоторный парк. Трубку сняла секретарша.

— Звонят из горотдела милиции, — строго сообщил Децкий. — Соедините меня с главным инженером.

Секретарша, испытав замешательство, объяснила:

— Главный инженер сейчас на территории. Будьте любезны позвонить минут через десять.

Эти десять минут оказались кстати, Децкий посвятил их важному, не обдуманному прежде вопросу — как представляться. Виделось три варианта: можно было назвать себя вымышленным именем — например, капитан Третьяк; можно было использовать фамилию и должность следователя; наконец, он мог выступать под собственным именем и в своем воинском звании старшего лейтенанта. Размыслив, Децкий от двух первых вариантов отказался — под чужим именем легко попасть впросак. Под своим же даже открывалась возможность пользоваться заводским красного цвета удостоверением, не давать его в руки, а на мгновение раскрывать, чтобы бросалась в глаза фотография. И в случае какой-нибудь неприятности можно, отговориться, что проводит следствие по собственному делу как частное лицо, как частный детектив. Однако звание — старший лейтенант — показалось Децкому недостаточным, почтения оно не даст и не соответствовало возрасту. Старший лейтенант в сорок лет — неудачник. Майор же — было велико и приметно. Децкий избрал среднее — капитан. Инспектор уголовного розыска капитан Децкий. И красиво, и вызывает доверие.

Ровно через десять минут он позвонил вновь; его уже ожидали.

— Вас беспокоит городской уголовный розыск. Капитан Децкий, — сказал Децкий. — Просим срочно собрать следующие сведения: кто из водителей двадцать четвертого числа прошлого месяца, в субботу, в первой половине дня, а точнее, с десяти до двенадцати, ездил в сторону Игнатово.

— Что, наши водители провинились? — обеспокоился собеседник.

— Нет, к водителям мы претензий не имеем, — ответил Децкий. — Никаких.

Условились, что диспетчерская служба постарается собрать основные сведения к концу дня, и окончательно — к полудню завтрашнего, поскольку водители работают в разных сменах. Децкий, сославшись на оперативную работу, сказал, что сам позвонит взять данные.

По дороге на завод Децкий заехал в молочное кафе и тут, заказав мягкого мороженого, обдумывал, как обойтись с Павлом. Хотелось припереть Пашу к стене, показать свою полную осведомленность, свое знание нечестной Пашиной игры, притворства и подлости, но это было и невыгодно — Павел что-либо соврет, отговорится, отбрешется, после чего усилит бдительность и искусство обмана. Децкий постановил выступать в роли простака, разини, простофили, а тем временем собирать карты, а уж когда соберутся крупные козыри, тогда открыться и взять свое с лихвой.

В цехе, как всегда утром, навалилось забот, да еще оказалось, что в девять его вызывали к директору, и пришлось лететь в административный корпус, в директорский кабинет и объяснять враньем свое опоздание. Вызывали же по мелкому, но неприятному поводу — надо выделить десять человек на две недели в подшефный колхоз, и не простых человек, подсобников или учеников, а специалистов, станочников. А почти все станочники в цехе — семейные мужики, и охоты на полмесяца отъезжать из дома, бросать семью никто не имеет, а главное — рушится ритм работы, сразу же начнет лихорадить поток. План, возможные перебои, срыв графика теперь вовсе не волновали Децкого; чем хуже — тем лучше, думал он; но выполнять приказ следовало быстро, надо было разбираться с мастерами, участвовать, думать, уговаривать людей, что-то им обещать — и на полтора часа он с головой ушел в цеховую жизнь.

В начале двенадцатого директор вызвал его вновь, и что было странно сам, и попросил, чтобы спешно в эту самую минуту. Он вошел в кабинет и по лицам директора и председателя месткома понял, что случилась какая-то серьезная неприятность. "Господи, — подумал Децкий, устроясь, — неужто милиция дорылась, и вот — отстраняют?" Но то, что он услышал, поразило страшнее.

— Звонили из ГАИ, — сказал директор. — В автомобильной катастрофе погиб Павел Пташук.

Децкий не поверил:

— Не может быть!

Ему объяснили: Павла нашли в шесть утра за городом, на Веселовской дороге. Дома никого не оказалось; милиция установила место работы и вот, четверть часа назад, сообщила. Причину и подробности катастрофы по телефону не сказали.

Оцепеневшего Децкого вернули к делам и назначили возглавлять комиссию по похоронам. Тут быстро составили план, вызвали других работников, распределили обязанности. Как председателю комиссии и самому близкому другу покойного Децкому выпадало везти страшную весть жене Павла. Она и Димка находились на даче. Децкий немедленно и выехал. Но по дороге он завернул в областное ГАИ, где расспросил подробности этой неожиданной и невероятной смерти.

Катастрофа, рассказали ему, случилась на седьмом километре Веселовского шоссе на десятипроцентном уклоне. Водитель, то есть Павел, был пьян, скорее всего, уснул за рулем и на всей скорости вылетел в овраг. Машина не менее трех раз перевернулась, сейчас она — вторичное сырье. Водитель погиб сразу. Произошла эта авария около часа ночи.

Децкий слушал, верил, но все эти сведения сознание его не принимало. Почему на Веселовском шоссе? Какое дело понесло Павла за город? Ночью? Пьяного? Или трезвого? Вообще, все это не вязалось с привычками Павла: он не любил ездить и уж никак не полез бы за руль пьяным. Децкому отчетливо припомнился стремительный, аккуратный, легкий выезд «Москвича» на улицу; нет, думал он, руки пьяного человека не могли так точно вести машину; крепкие трезвые руки лежали на руле, и послушны ногам были педали. Или случайность, думал Децкий, трагическая случайность, каких немало знает дорога. Но все это были доводы ума, а в душе, в укромном ее уголке, шевелилось другое чувство, почти что радостное, — чувство внезапного освобождения и успокоенности: самое слабое звено вывалилось из цепи, самый опасный свидетель или главный преступник, если похищение совершил он, стал следствию недоступен. Отметив эту пользу смерти, Децкий, осыпая себя упреками в гнусном цинизме, такие чувства сознательно притушил.

Приносить трагические вести — тяжело, и Децкий все тягости злого вестника испытал искренне и сполна. На время он позабыл и о следователе Сенькевиче, и о деле, и о заботах своего собственного розыска. Пусто стало без Паши, пусто, тоскливо и страшно. Был такой час, что Децкий все отдал бы, лишь бы Паша восстал из холода и молчания, ничего бы не пожалел, ни копейки, ни камушка, остался бы гол и бос. Какая-то важная основа рухнула вместе с Пашей, что-то остро необходимое для веселого чувства жизни, что ничем нельзя заменить. Все, что накопилось в душе за двадцать лет его дружбы с Пашей, сейчас по-сиротски горевало, переселялось стариться и угасать в глухие каморки памяти, и Децкому было больно.

Но в пять часов Децкий отринул свои переживания и приехал домой звонить в таксомоторный парк. Справка была уже готова, ему продиктовали фамилии и адреса четырех таксистов. Затем из толстой пачки купальских фотографий Децкий отобрал наиболее приличный групповой снимок, переделался в строгий наряд — черный костюм, черный гольф, черные туфли и отправился в город. Объезжать таксистов было рано; Децкий забрался в модное молодежное кафе и просидел полтора часа за стойкой, заказывая один за другим двойной кофе. Он выехал по адресам, когда интервьюирование начало трансляцию очередного матча европейского чемпионата по футболу. Благодаря этому первые три адресата оказались дома. Все они убежденно заявили, что никто из людей, запечатленных на снимке, машину в Игнатово не нанимал. Четвертый таксист работал за приятеля, искать его на линии с помощью диспетчерской службы Децкий не отважился; достаточно риска было и в том, чтобы от имени инспектора уголовного розыска предъявлять для опознания снимок. Децкий решил навестить четвертого завтра утром.

Теперь можно было ехать к Павлу. На одном из перекрестков, ожидая разрешения на поворот, Децкий в сентиментальном порыве приставил фотографию к ветровому стеклу. На снимке он и Павел стояли рядом, Паша обнимал его, оба смеялись. Голос несчастного приятеля так громко зазвучал в ушах Децкого, словно Павел находился рядом. Вспомнился Децкому весь тот счастливый день — с костром, купанием, ужином, игрой в футбол, и удушливый комок тоски подступил к горлу, и одинокая скатилась по щеке слеза. Поглядывая на снимок, питая им горькую свою грусть, Децкий вдруг с ужасом обнаружил на снимке себя, то есть все время глядел и видел и не находил в этом ничего дурного, а вдруг пришло понимание, что его, Децкого, здесь не должно быть, что он как следователь не мог предъявлять снимок с собственным изображением. Не будь таксисты увлечены футбольной игрой, они и сообразили бы, и почувствовали какую-то несуразность, и удостоверение могли бы попросить, удивившись такой явной странности. И следом пришла мысль, что вор мог снять усы и бородку в Игнатово, выйдя из такси, а в такси благоразумно ехал при бородке и усах, что и весело, и неглупо.

Децкий развернулся и помчался к ближайшей парикмахерской. Через двадцать минут совсем иной человек глядел на него из зеркала. Мягкость, благодушие, которые придавала борода, исчезли начисто. Твердое, волевое лицо отражалось в зеркале; Децкий остался доволен: теперь он более походил на инспектора угро, чем майор Сенькевич.

Последующий час Децкий просидел возле гроба. Входили и выходили люди, комната заполнялась цветами. Отдать последний долг пришли и свои: Данила Григорьевич с женой, Виктор Петрович, Петр Петрович со своей мымрой; появилась в

дверях Катька с любовником; Адам принес букет гладиолусов, постоял, посмотрел и сел возле Децкого. Бабы плакали, родственники выли, словом, что тут рассказывать — все знают: было как везде, как всегда, как было, и есть, и будет. Верин плач мучал Децкого, голосила она отчаянно, отдавались в сердце ее безумные вскрики; Децкий старался не вслушиваться, но слушалось, и внезапно его поразили вычленившиеся слова упрека: "Павлуша, Павлуша, зачем ты пил!" Старая боль была в этом укор, и Децкому осозналось, что Павел пил по-настоящему, что это стало горем семьи, что все, что говорил он вчера, — он говорил честно, что и вечером он, используя свое одиночество, напился всласть, и поэтому никоим образом не мог разъезжать два часа по загородным дорогам. Это было практически невозможно, его никогда не тянуло на пьяные приключения; в худшем случае он решился бы на пешее хождение, но руль, шоссе, скорость, свист воздуха за окном — такое удовольствие было ему чуждо, даже противно. Он не мог, думал Децкий, ехать сам и не мог кого-либо везти; скорее бы он вызвал машину. И к Децкому пришло понимание: это не Павел кого-то вез, это кто-то вез Павла. И возил до тех пор, пока тот не уснул. Дальнейшее вообразилось так: на седьмом километре Веселовского тракта кто-то пересадил Павла за руль, включил передачу и стронул «Москвич» по крутому спуску. Машина пошла вниз, набирая скорость. Павел не видел, не чувствовал, куда несет его, — он спал. И пьяные его сновидения оборвала смерть. Именно так все и произошло, подсказывала Децкому интуиция; кто-то пустил машину с холма, кто-то хотел убить Павла. И убил.

Этот день оказался напряженным и для следователя Сенькевича. Вскоре после планерки он получил результат графологической экспертизы почерка Децкого и почерка на ордере. По мнению эксперта, ордер едва ли написан рукою Децкого; в пользу подделки свидетельствует общая пропорция букв. Текст ордера краток и недостаточен для убежденного заключения; наблюдаются отклонения в написании букв «н», "т", «я»; угол наклона букв отличается незначительно и позволяет говорить о старании уподобить почерк на ордере почерку на заявлении.

Отсюда следовало, что преступление тщательно готовилось и что преступник достаточно тренировал руку. Сенькевич подумал, что преступник мог прийти в сберкасса с заранее подготовленным ордером, чтобы не подвергать себя риску из-за волнения, спешки, каких-либо иных непредвиденных обстоятельств. Но повторная подпись на обороте ордера подсказывала, что преступник расписывался на глазах у контролера, из чего вытекало, что в критической ситуации, когда вся затея повисла на волоске, он в считанные мгновения сумел проанализировать претензии контролера, определил свою

ошибку и внес в подпись недостающий элемент. Сенькевич высоко оценил его самообладание. И еще это убеждало, что преступник имел близкое или дальнее касательство к Децкому; можно было думать, что он скорее принадлежал к окружению Децкого или Децкой, чем к кругу работников сберкассы, если только обе группы не соприкасаются, если существует лицо, общее обеим группам. Просить разрешения на экспертизу почерков множества людей не хотелось, и вряд ли такая широкая проверка была бы разрешена. Следовало хоть с некоторым приближением ограничить число лиц, доступных подозрению.

Какие-то надежды обещало то рассуждение, что подавляющее большинство людей считает правильным и благоразумным не распространяться о размерах своих вкладов, тем более если размеры эти способны пробудить зависть. В любом случае даже приблизительное знание суммы доступно малому кругу лиц. Сенькевич прикинул, что располагает самыми скудными знаниями об отношениях со сберкассой большинства своих добрых знакомых. Имеет ли накопление? Сколько? В какой кассе? Как часто прибавляет? Он насчитал только троих, о ком знал точно, что пользуются сберкнижкой, но о сумме разговор никогда не заходил и зайти, разумеется, не мог: странно и неприлично, считал он, любопытствовать о чужих деньгах. Какая цель? Какая потребность? Лицо, проявляющее такой интерес, конечно же, запоминается, "длинный нос" его обсуждают, он порицается: свои не умеет считать — чужие считает. Сомнительно, чтобы такие люди, как Децкие, сами хвастались накоплениями или тщеславно отвечали на нескромное любопытство. Получить же достоверные сведения о вкладе возможно либо у вкладчика, либо в сберкассе, а больше нигде. Сенькевич отметил в списке насущных дел встретиться с Децким и обсудить круг знакомств семьи.

О достатке Децких, безусловно, знали соседи. Машина, гараж, гарнитурчики, зимняя одежда — все это на виду и вызывает уверенность, что у такого хозяина можно хорошо пожить. Но развитию этой версии противоречил сам состав преступления: кроме облигаций, в квартире не взяли ничего и в придачу к этой загадке вернули сберкнижку назад. Сенькевич задумался, чем могло быть вызвано столь несуразное действие преступника. Чувством злобы? Чувством юмора? Знанием обычаев дома? Ехидством? Как бы там ни было, странный этот поступок подсказывал сосредоточить большее внимание на знакомых семьи, чем искать преступника среди незнакомых. Хотя преступник мог положить книжку в чемодан именно с этой целью — бросить тень на знакомых и отвести подозрение от себя. Но и выбор для похищения говорил в пользу хорошего знания преступником уклада жизни Децких. Преступник входил в квартиру и покидал ее дважды, то есть смело, в полной уверенности, что даже случайное

возвращение хозяев нереально. Поскольку у Децких есть дача, то субботу они всегда проводят на даче (но и это следует уточнить, подумал Сенькевич), однако ограниченное число людей могло знать, что в ту субботу, двадцать четвертого июня, Децкие ни под каким предлогом вернуться домой не могут, потому что связаны приемом гостей. Так что вся компания гостей, видел Сенькевич, волей-неволей напрашивается на проверку их алиби на время между девятью и десятью часами утра. И на графологическую экспертизу почерков.

Все это требовало огромной и, скорее всего, бесполезной работы. Раз вор в совершенстве подделал ордер, то, естественно, и позаботился о безупречном алиби. Бородка и усы и облачение в костюм Децкого служили красноречивым свидетельством этой его заботы. Нетрудно создать и более веские аргументы своей непричастности — преступнику достаточно иметь одного-двух приятелей, возможно тоже злоумышленников и соучастников, но стоящих вне подозрений, вне доказательств соучастия, которые подтвердят, что оба в тот час завтракали или курили в сквере.

Дело Децкого все менее нравилось Сенькевичу; опыт подсказывал, что найти такого преступника будет чрезвычайно трудно и еще труднее определить улики, убедительные для суда. Даже облигации, случись их отыскать, не могли бы выступать как улика, потому что Децкие не держали списка их номеров. Все было расплывчато, следа не было ни одного, и расходились от похищения многие нити — к соседям, к дальним знакомым, к сотрудникам Децкого, к сотрудникам Децкой, к работникам сберкассы. А вор оказался умен; Сенькевич вдруг догадался, почему он положил книжку на прежнее место: записи показали ему, что Децкий открывает сберкнижку редко, но достаточно видеть ее, знать, что она в доме, что заглядывания в чемодан по любой иной причине всегда сопровождаются и внешним надзором за ее сохранностью. Теперь же, по прошествии месяца, даже трудно гадать, как работал вор — в перчатках или без перчаток — все отпечатки и следы уничтожены самими Децкими. Не имело смысла обращаться и к памяти соседей Децкого. Если бы кто-нибудь заметил проникновение неизвестного человека в соседскую квартиру, то за истекшие недели уже сообщил бы об этом Децкому или Децкой. Да и само двукратное хождение преступника по двору и подъезду, и открывание дверей доказывало, что никто ему не встречался, никто его не приметил. Тем более что он менял наряд.

Было над чем поломать голову, и Сенькевич напряженному этому труду предавался до полудня. В полдень он позвонил на квартиру Децким. Телефон не отвечал. Тогда он позвонил Децкому на завод. Тут ему объяснили, что Юрия Ивановича нет, что он занят на похоронах товарища.

Выйдя на лестничную площадку покурить, Сенькевич застал там нескольких инспекторов и малознакомого ему майора из службы ГАИ. И этот майор говорил:

— Вот так, мужики. Кто-то напьется, а нам отвечай. Виноват не виноват — подставляй-ка, братец, зад.

— А что случилось? — полюбопытствовал Сенькевич.

— Да ночью сегодня на Веселовском шоссе, — охотно сказал майор, пьяный убится. Там зигзаги с уклоном, видимость ограничена, надо внимание, а ему, ясное дело, море по колено — ну, и насмерть. Как назло, утречком иностранцев мимо везли, высокое начальство сопровождало. А тот столбики сбил, четыре раза перевернулся; картину можете себе представить. Тут же звонки: что у вас делается на шоссе? за что служба ГАИ деньги получает? почему пьяные носятся по дороге, как по квартире, себя убивают и другим грозят? И тому подобное.

— Молодой был? — спросил кто-то из следователей.

— Лет сорок, — отвечал майор. — Семейный, жена и сын остались. Мастер с инструментального завода.

До последних слов рассказ о катастрофе занимал Сенькевича, как обычно занимают такие истории — с неглубоким и непричастным сочувствием бедолаге. Но адрес — "с инструментального завода" — оказал на него приближающее действие: там работал Децкий и, вероятнее всего, именно похоронами этого человека он сейчас и занимался. И это был товарищ, пусть приятель, лицо близкое, а значит, он вполне мог, не попади в катастрофу, оказаться в списке людей, с которыми потребовала бы встречи какая-нибудь из версий следствия. Тут же память подсказала реплику Ванды Децкой, назвавшей одного из мужчин на дачных снимках — товарищ мужа. В силу привычки знать все, что касалось ведомого дела, Сенькевич заинтересовался.

Через час он знал подробности катастрофы, заключение ГАИ, результаты вскрытия, а также что погибший — Павел Ильич Пташук — работал мастером участка ширпотреба в цехе Децкого, что оба учились в политехническом институте, вместе пришли на завод, были самые близкие друзья, что покойный пользовался репутацией человека доброго, отзывчивого, благоразумного. Вторую половину сведений сообщил Сенькевичу заводской отдел кадров.

Напился — поехал — разбился — дело частое, ничего чрезвычайного в этом не было; никакой связи случайная дорожная катастрофа с делом Децкого могла не иметь; тем не менее, пусть и волею случая, один из друзей дома погиб на второй день после обращения Децкого в милицию и как раз в тот момент, когда возникла надобность пригласить его для беседы. Целый ряд вопросов, на какие требовался ответ именно от

него, останется уже безответным. Например, подумал Сенькевич, что он делал утром двадцать четвертого июня? Если он был среди гостей и если его действия в злополучное утро субботы никому не известны, то он, Сенькевич, имел бы все основания распространить свои подозрения и на него. А когда невзначай гибнет человек, на которого может упасть тень подозрения, то это странно, и требуется проверить все обстоятельства гибели, как ни естественно воспринимаются они на первый взгляд. Достаточное знание о Пташукe было необходимо и для того, чтобы с уверенностью полагать или не полагать его причастность к преступлению, чтобы не повисли в воздухе какие-либо построения, если поиск преступника зайдет в тупик.

С чего-то следовало начинать, и Сенькевич вновь позвонил в ГАИ и условился со старшим лейтенантом, выезжавшим для расследования причин катастрофы, о совместной поездке на седьмой километр Веселовского шоссе. Поездку назначили на завтрашнее утро.

Децкий, хоть и спал в эту ночь меньше четырех часов, проснулся с ледяной ясностью ума. Было очень рано, только начинало светать, еще не ходил транспорт; Децкий долго лежал, глядя на серые в сумраке стены, чувствуя крайнюю неуютность своей жизни. Наконец он встал, пошел в кухню и здесь, привалясь голой спиной к холодной стене, просидел весь рассвет, думая о Павле. Смерть друга была ужасной, Децкий, с болью всех нервов, каждой клеточки, представлял испытанное Павлом разрушение тела; но невеселой, неинтересной казалась сейчас Децкому и жизнь товарища, и своя жизнь открывалась такой же скукой и мелочью дел. Все веселое, живое, радостное осталось далеко позади, окончилось в молодые годы, а последние десять лет являлись на память набором однообразно унылых операций по добыче денег. Но что с них стало Павлу? Купил машину, на которой отправился на тот свет; одел в шубу жену, зато начал спиваться, и если не заслужил в семье презрение, то потерял любовь. И жил в изводящем ожидании провала, позора, никчемного конца своего века. И уже его нет, уничтожили, вывели из живых, убили.

Децкий, стыдясь, вспомнил свою потаенную, скользнувшую змеей радость от того, что исчез засовестившийся, опасный в своих переживаниях соучастник. Господи, господи, говорил себе Децкий, до чего дошло у меня: друг погибает, так вместо слез радость в сердце стучит. А нельзя так, нельзя, не по-людски — по-звериному. Что же остается — труха. Прав был Паша, думал Децкий, озверели, оскотинились, только бы весело было, весело и нестрашно, а страдать разучились, только за свое нутро болит, а если кто другой мучится — черт с ним, неудачник, в сторону от него. Ведь вот как стали думать,

устыжался Децкий: все смертны, и я умру, так чего о другом горевать. Сопrotивлялся Паша, остатки души берег, за что и убили. А не я один, подумал Децкий, все наши обрадовались, хоть на мордах скорбь изобразили: и Петька, и Данила, и Катька, и Виктор, и разные другие причастные людишки, шестеренки дела.

Децкий оторвался от стены, сварил кофе, наполнил большую чашку, хотел уже пить, но не пригубил, а отрешенно уставился в коричневое зеркало напитка. Он не мог понять, что с ним происходит в эти минуты; он ни о чем больше не думал, ни одно лицо не возникало перед глазами, он сидел над чашкой, как во тьме, и сердце его словно замерзало, каменело, запекалось тяжелой мертвящей коркой. Время не ощущалось; он не знал: пять минут, или час, или два тлела в нем эта мука; но когда вернулось к нему чувство времени и обстоятельств, он понял, что обязанность его перед Павлом, его последний долг перед ним и главный перед собой — убить убийцу. "Убить! медленно, отчетливо и убежденно сказал Децкий. — Иначе нельзя!" Явился план, как убить. Он напоит убийцу, пьяного усадит за руль и пустит машину вниз по уклону на седьмом километре Веселовского шоссе, а если не там, если там будет невозможно, то в другом месте, на другом шоссе, на любом километре, хоть на двухсотом. А сам выйдет на соседнюю дорогу, остановит попутку и вернется домой. И снимет с души грех, и выполнит святой долг. Но где-то в недрах организма, в какой-то центральной клеточке пульсировал страх; Децкий ощущал это живое зерно страха, и ему было противно, что оно живет в нем и готовится прорасти, и он ругал себя, издевался над собой, убеждал себя, что другого пути ему нет, что кровь требует крови, смерть смерти, чтобы стали и действовали баланс, равновесие и душевный мир.

Убедив себя, Децкий переключил ум на следственные заботы. "Вот что важно — найти, — сказал он себе. — Найти и воздать". Он оделся и поехал на квартиру Павла. Тут его втянули в поминальные заботы — мясо надо достать, закуски надо достать, сколько водки купить, людей на каждое дело назначить, и прочее, и прочее, без чего нельзя. В половине восьмого появился Петр Петрович, вошел в гостиную, навытяжку постоял и вышел — на работу необходимо. Децкий последовал за ним, на лестнице закурили.

— Да, брат, — вздохнул Петр Петрович. — Вот она, жизнь-то как!

— Ты чего, Петя, страдаешь? — усмехнулся Децкий.

Петр Петрович удивился и послал на Децкого протонзительный взгляд.

— То есть, что значит, чего? — возразил он осторожно, не понимая вопроса. — Человек погиб. Паша.

— Так чего ты страдаешь? — сказал Децкий. — Радоваться надо, бога благодарить. Тут такое назревает... Паша, можно сказать, спас всех... Чуть что, какая проверка — там

спросите, — Децкий указал пальцем вниз, под землю. — Соображать надо, а ты горюешь...

— Ну это так, конечно, — согласился Петр Петрович, бегая глазами по стенам. — Но не плясать же, однако.

— Скажи, — резко спросил его Децкий, — ты что делал вечером позавчера?

— Телевизор смотрел, — без задержки ответил Петр Петрович.

— А потом?

— Спать лег.

— А Паша тебе не звонил?

— Нет. Ты только и звонил, — сказал Петр Петрович и удивился: — А в чем дело?

Что было?

— Да так. Хотелось узнать, что он говорил напоследок.

— Нет, к сожалению, не звонил.

В девятом часу Децкий поехал к таксисту. Тот был дома, завтракал вместе с семьей.

— Уголовный розыск, капитан Децкий, — представился Децкий и протянул фотографию. — Не вспомните ли своего пассажира среди этих мужчин? Рейс в Игнатово, месяц назад, двадцать четвертого утром.

— Таких, кажется, не возил, — лениво отвечал таксист. — Вез какого-то, попросился на вокзале. Как тут припомнишь, каждый день по тридцать лиц мелькает. Это кабы знать наперед, что вам потребуется, так, конечно, смотрел бы, запоминал, а так: сел, вышел, по счетчику уплатил — и словно не виделись. Бывают разговорчивые, те дольше помнятся, но в Игнатово, нет, не помню пассажира.

Этот ответ смутил Децкого. А ведь правда, думал он, вспомнить случайного пассажира спустя месяц — дело почти безнадежное, редкая нужна память. Вор, конечно, не старался остаться в памяти, сел, просидел болваном, накинул пару рублей, как все делают, — и привет. С какой стати о нем память хранить. Вполне возможно, да и скорее всего, думал Децкий, что все остальные водители, ездившие в Игнатово, ответят то же самое: не помним, не узнаем, и этот ход с предъявлением снимка желаемого результата не даст. И что тогда делать, куда тогда тыкаться, Децкий не представлял.

Он заметил, что кончается бензин. До ближайшей заправочной было километра полтора, но Децкий помчал через весь город заправляться на Веселовское шоссе. Наполнив бак, он поехал к месту Пашиной гибели. Оно, к удивлению Децкого, находилось с левой руки, то есть Павел возвращался в город. Не останавливаясь, Децкий погнался вперед. На двадцать пять километров шоссе не имело ни одного пересечения с

другими значительными дорогами, отходили от него только грунтовые проселки с указателями деревень. Затем шоссе разветвлялось, правая ветвь вела в Веселовичи, до которых было пятьдесят километров, левая — на магистральное шоссе, и здесь располагался стационарный пост ГАИ.

Децкий развернулся. Теперь он ехал по той стороне, по какой лежал последний путь Паши. Перед седьмым километром стояли знаки "Внимание, уклон" и "Внимание, зигзаг". Когда знаки повторились, Децкий остановился. Лента шоссе круто убежала вниз. Здесь случилось, подумал Децкий. Легко стронув машину, Децкий дал ей свободный ход. «Жигули», развивая скорость, покатались по уклону. У сломанных машиной Павла столбиков Децкий затормозил; спидометр показывал пятьдесят километров. Внизу, у подножия холма, отчетливо виднелись следы катастрофы: залитая маслом земля, сбитые кусты, глубокие вмятины на земле. Вот здесь, на обочине, подумал Децкий, он еще был жив, а через полминуты вот там уже лежал его труп. Все хрупкое, незримое, воздушное — душа, сознание, ум — растерялось на этом откосе. Децкий представил, как это происходило. «Москвич» врезался в столбики, они сломались, машина сотряслась, Павла бросило на руль и лобовое стекло. Затем машина пошла с откоса, на рытвине стала на бугор, перевернулась, перевернулась еще раз и упала на валуны, а после них перевернулась набок. Авария на этом месте шансов на спасение не оставляла. Точно выбрано гибельное местечко, думал Децкий, кто-то знал исход, бил наверняка.

Поглядывая на приметы трагедии, он попытался восстановить события позавчерашнего вечера. Он приехал к Павлу в одиннадцать, и в это время кто-то его увез. Последний разговор с Павлом был перед тем за полтора часа. Паша старался вспомнить какое-то странное наблюдение в электричке. Об этом же он, Децкий, беседовал по телефону со всеми, но в те полтора часа разбежки он никому не звонил, только Паше, но его номер был занят. Вот в это время туда прибыл убийца; наверное, предложил выпить, Паша, разумеется, согласился, затем под веским предлогом взяли машину, и тот повез Павла убивать.

Децкому вспомнилось, что он разговаривал еще с Каткиным любовником, но через десять минут после этого разговора он выехал к Павлу. Подозревать Олега Михайловича не приходилось. За десять минут добраться к Павлу от Катки нельзя, но главное не в том, главное, что Олег Михайлович был Павлу чужой человек, и вот так, с наскоку, только войдя в дом, потребовать открывай гараж, выводи машину — он не мог. Приезжал свой, кого Павел знал, с кем мог беседовать, кому хоть в малой мере доверял. А ведь в квартире, подумал Децкий, еще вчера утром оставалось множество следов этого человека — на стаканах, на ручках, посуде, на столе, — не сидел же он перед Павлом в

перчатках... Теперь Децкому стало ясно, почему отвечал короткими гудками телефон: трубку с рычагов снял убийца — никто не мог отвлечь Павла звонком, и Павел никому не мог проговориться, что он не один, что у него гость, что он пьет с этим гостем...

Вдруг близко, напугав Децкого, закрипела тормозами машина. Оглянувшись, Децкий увидел в десяти шагах «Москвич» дорожной инспекции; из него выходил старший лейтенант. "Что ему? — неприязненно подумал Децкий. Кажется, ничего не нарушил". Но еще через миг его пронзил суеверный страх за лейтенантом из машины вышел следователь Сенькевич. Только удивление, отразившееся в глазах следователя, удержало Децкого от панической растерянности.

Поздоровались.

— Ваш старый товарищ, да? — сочувственно сказал следователь, глядя вниз на масляное пятно.

Никаких слов не нашлось у Децкого для ответа, язык предательски онемел, и Децкий кивнул, но получилось даже хорошо, даже со значением: зачем спрашивать, зачем трогать чужую рану.

Игнорируя это значение, следователь спросил:

— Он крепко выпивал, да?

Децкий вновь ограничился кивком.

— А когда вы видели его в последний раз?

Уж тут невозможно было отделаться кивком и нельзя было сказать правду, и Децкий сказал полправды, лишь то, что могли подтвердить другие:

— После работы. Мы вместе вышли с завода.

— А куда, Юрий Иванович, — не унимал интереса Сенькевич, — Пташук мог ехать ночью по этому шоссе?

— Ума не приложу, — искренне ответил Децкий.

— Как же получилось, что он напился до такой степени?

— Дома, — сказал Децкий. — Он позвонил мне часов в девять, уже плохо владел речью.

Сказав так, Децкий тут же пожалел о своих словах: зачем объяснять, пусть бы и гадал, где напился, а так падала на него самого какая-то недобрая тень, непонятно какая и почему, но ложилась на него вина.

— И часто так бывало?

— В последний год — да.

— Хорошо водил машину?

— Слабо.

— Но любил ездить?

— По настроению, — осторожно ответил Децкий. — Иногда неделю не садился за руль.

Вопросы были уместные, безобидные; Децкий сориентировался, что следователю немного известно, что он в плену версии ГАИ, и почувствовал себя вольнее. Но тут вышел из машины и подошел к ним парень лет двадцати пяти — высокий, модно одетый, интеллигентного облика.

— Познакомьтесь, Юрий Иванович, — сказал следователь, — это мой помощник, инспектор Корбов. Если возникнет необходимость, можете обращаться к нему, как ко мне.

Децкий взглянул на помощника; тот показался ему излишне для работника розыска красивым, утонченным, изнеженным — этакий "маменькин сынок"; по было и понятно Децкому, что это впечатление обманывает его, что на опасной работе уголовного розыска делать "маменькиному сынку" нечего, что он должен многое уметь и иметь толковую начинку головы. С первого взгляда Децкий заметил и крепкие руки Корбова, и на руке никелированный браслет автогонщика — знак быстрой реакции и личной храбрости. Децкому вновь стало не по себе. Угнетающее это действие оказал не сам умный и, судя по браслету, смелый Корбов, сам по себе он Децкого не испугал; скверно было другое, скверно было, что следователь Сенькевич взял помощника, что уже двое, а то и больше, людей занимаются его делом. И занимаются успешно, в чем убедил Децкого очередной вопрос:

— Пташук был у вас на даче двадцать четвертого числа?

— Был.

— Как он приехал? Поездом, машиной?

Пришлось рассказывать, кто чем добирался и почему Павел приехал без семьи. Все это вызывало досаду, но особенно потрясло Децкого, что Сенькевич с помощником вели свое следствие параллельно. Децкий даже с ужасом предположил, не следят ли за ним — уж очень странно выглядела эта встреча здесь, на шоссе, этот приезд обоих именно в ту минуту, когда он примерял к месту катастрофы свою версию. Но такое подозрение сразу и отпало: он возвращался с развилки и все двадцать километров ни одна машина не появлялась в смотровом зеркальце. Совпадение, решил Децкий. Но крайне неприятное было совпадение, ненужное, памятное, способное породить сомнительные мысли.

Децкий попрощался и поехал в город. Думы свелись на следователей. Что им Павел, рассуждал Децкий, что привело их на место гибели, что они ищут тут с утра пораньше? И вопросик этот "был ли на даче, чем ехал?" совсем не безобидный, не формальный вопросик, а содержательный, злой, меткий. Уже повязали, черт бы их взял,

дачу с похищением, а похищение с транспортом. Пусть версия, пусть догадка, но есть она, породили, обдумывают, подбираются. Вот и Павлика заподозрили; не ушел бы вчера, сегодня бы вызвали для знакомства. А если Павел, то и все остальные тоже под подозрением. "Заварилась-таки каша! — сказал Децкий вслух. — Все отпробуют, все загремят!" Но подумав, решил: никто не загремит — улики отсутствуют. Вот, приехали следователь с помощником на место происшествия, посмотрел один, посмотрел другой — и что с того? Мало ли у них нераскрытых преступлений? Мало ли развешано плакатиков — разыскивается опасный преступник? Каждый делает свое дело. Кто обловчит — тот и жив. И помощник, экая важность — помощник, думал Децкий, может, он бумажки помогает писать; мастера к мастеру не ставят, подмастерье, одним словом, ученик, технический исполнитель; он количество дает, а качество дает майор Сенькевич. Так что не двое против одного, а один на один. Не бояться надо, думал Децкий, надо спешить.

Заскочив домой, Децкий позвонил в таксопарк. Главный инженер отсутствовал, но секретарша, услышав "капитан Децкий", ответила, что ей дана бумага с тремя адресами для товарища капитана, продиктовала адреса и пояснила, что первые двое водителей сегодня работают в первую смену, а третий — в ночную.

До похорон оставалось четыре часа, и Децкий решил навестить свободного таксиста. Но как все прежние встречи с водителями, так и эта удачи не принесла. Таксист помнил пассажиров, вышедших в Игнатово, но ими оказались две семейные пары. Децкий уверился, что желаемого ответа не получит; две причины мешали его получить: вор мог нанять частного, вор мог рассчитаться двадцатьпяткой, и водителю крайне неловко обнажаться перед милицией такими грехами. Последняя мысль — о щедрой оплате — породила следующую, очень для Децкого болезненную. Он подумал, что вор, покинув квартиру в начале одиннадцатого, уже не располагал свободным временем и физически не успевал отвезти деньги и облигации к себе домой; они были при нем, он принес их на дачу, они лежали на дне его сумки. Вор, разумеется, похихатывал в душе, наблюдая, как он, Децкий, проходит возле этой сумки, случайно смотрит на нее, а ночью, готовя всем постели, лично переносит на веранду. Шнырять по сумкам, проверять их содержимое, конечно, никто не решился, и смысла в этом не было. Вор забавлялся, ничем и нисколько не рискуя.

Вором не мог быть брат, думал Децкий, и не был им Павел, потому что его убили. Оставались четверо: Петр Петрович, Олег Михайлович, Виктор Петрович и Данила Григорьевич. Все они утверждают, что ехали парами, и отсюда с железной обязательностью вытекает, думал Децкий, что какая-то из баб вынуждена врать и врет.

После отъезда Децкого следователи тоже поехали к развилке, и здесь лейтенант-"гаишник" объяснил, что в ночь катастрофы на пункте дежурил расчет, поскольку рано утром ожидалась колонна машин. Если бы на развилке имело место явное нарушение правил дорожного движения или возникло бы подозрение в опьянении какого-нибудь водителя, то он был бы немедленно остановлен. Так что остается предположить, что мимо пункта «Москвич» Пташука прошел четко или что он вообще до развилки не доезжал. И то и другое казалось Сенькевичу странным. Если Пташук проехал здесь в ясном сознании, то почему ослеп или заснул через тринадцать километров? Если же он развернулся до развилки, то зачем принесло его на это шоссе? Хотя его могла ослепить и встречная машина. И логики у пьяного нет: взошло на ум искать приключений — вот и вся цель. Напился дома, пользуясь отсутствием жены — слова Децкого это подтверждали, — выскочил, сел за руль, и понесло его по улицам и дорогам искать смерть. А она с такими ребятами встречается охотно. Ездил редко, опыт небольшой, верно, и нервишки слабые, водка расхрабрила — и поплатился. Может, все было и не совсем так, и причины куда-то поехать существовали, правда, бог знает какие причины, например, бутылку искать, но истины теперь не доискаться. Ну пусть бы в городе своротил столб, думал Сенькевич, зачем же за город помчал, в темноту ночного шоссе. Удивительно выглядели такие действия Пташука, но за пьяного водка решает. Скорее всего и товарищей удивило хмельное, бестолковое его метание на машине, раз Децкий приехал на место катастрофы.

Как бы там ни было, человек погиб, и в деле о хищении двенадцати тысяч по поддельному ордеру появилась нежелательная и неожиданная брешь. Сенькевич чуть ли не физически ощущал возникшее пустое пространство. Ничто не препятствовало предположению, что Пташук и был искомый похититель, а будь так, следствие, еще, по сути, не начавшись, стало перед неудачей.

Вернувшись в отдел, Сенькевич взял лист бумаги и начертил схему — в центре ее, в квадратике, он написал «Децкий», а вокруг, в кружочках, пометил фамилии, названные Децким и вчера Вандой Децкой, и еще в трех кружочках проставил сокращения: «Сб», что означало — работники сберкасс, «Сос» — соседи и «Пр» — прочие. Кружочек с буквами «ПП» — Пташук Павел — он накрест перечеркнул.

Неприятное чувство вызывал у него этот крестик. Дела с гибелью участников всегда мучили его; какая-то или чья-то жестокость становилась поперек следствию, оно теряло легкость; непреложность столкновения со злом, с грубой волей начинала тяготить душу. Люди должны жить. Если человек гибнет, то где-то, или в нем самом, или в обстоятельствах его быта, или в окружающих, кроется неприемлемый, непростительный,

опасный для общества изъян, потенциальная готовность к новому преступлению — в лучшем случае к моральному, в худшем — к уголовному, а чаще — к обоим вместе.

Судьба обусловлена характером, думал Сенькевич, характер обуславливается обстоятельствами. Пташук пил. Почему молодой мужчина, муж, отец, человек, по чужому мнению, добрый и отзывчивый, — пил? И не в том даже интерес, думал Сенькевич, что выпил и перепил — случается, и даже не в том, что пил регулярно — может, семейная жизнь не удалась. Странное другое — и Сенькевич отметил, что появляется еще одна странность, — что напился Пташук как-то не вовремя и не в том месте, где можно было выпить. У близкого друга — несчастье, украли деньги; само собой разумеется, Децкий переживает, ему требуется участие, тут вполне уместны и встречи, и обсуждения за бутылкой водки; Пташук же напивается один, у себя дома и едет не к другу успокаивать, предлагать услуги, развлекать, а, как угорелый, носится по дорогам. Вот что странно, думал Сенькевич, низкая нравственность поступков — нет дружеского действия, нет участия, заботы, памяти, есть равнодушие, безразличие, холод чувств. Ну, конечно, виделись на работе, вместе вышли, какой-то разговор возникал и велся, и вечером из дома позвонил — вроде бы и забота, и дружба, но все это по случаю да по поводу дальше, холодное, внешнее. А где внешнего мало, думал Сенькевич, там и внутреннего нет.

Он позвонил в справочную второй больницы, узнал номер отделения, где работал сосед Децкого, и соединился с отделением. Скоро доктора пригласили к телефону. Глинскому было удобно встретиться до двух часов, Сенькевич согласился приехать тотчас.

Они встретились в холле терапевтического корпуса, каким-то чувством сразу определив один другого в густой толпе людей. Сенькевичу в сутолоке и наспех говорить не хотелось; вышли в сад, поискали свободную скамейку, но все были заняты больными, и присели в тень на траву.

С Децкого, как и предчувствовал Сенькевич, подозрения пришлось снять; действительно, семья приехала на дачу в пятницу, а утром Ванда хозяйничала, Децкий же поливал огород, занимал доски, спал под яблоней — и вообще все утро и день доктор провел у Децких. Рассказ Глинского немногим отличался от рассказов Децкого и Децкой; подробнее были описаны ужин и купальский костер. Ночевали гости на даче, воскресенье вновь проторчали у реки и вечером уехали, как и приехали, — поездом. Только, кажется, Павел Пташук, пусть ему земля будет пухом, отбыл вместе с братом Децкого, на его «Запорожце».

— Вы уже знаете о его смерти? — спросил Сенькевич.

— Еще вчера. Ванда позвонила.

— Мне любопытно, — сказал Сенькевич, — узнать ваше мнение о нем.

— Я не очень хорошо с ним знаком, — сказал Глинский. — Мы встречались только на даче. Раньше он часто приезжал к Юрию Ивановичу — и один, и с семьей. Но года два назад приобрел свою дачу, а дача — дело хлопотное. Но все же виделись; случалось, и в городе мимоходом... Мои впечатления? Он был человек простодушный и искренний. На мой, так сказать, медицинский взгляд, у него не в порядке были нервы, настроение резко менялось: то взрыв веселья, то грусть, глубинное угнетение. Такое, знаете, состояние, как бывает перед отпуском, когда весь выработался, а отпуск задерживают, затягивают... Ну, и болезнь нашего мужского населения — пить начал.

Сенькевич спросил о брате Децкого.

— О, Адам Иванович — ученый! — с уважением ответил Глинский. — Очень знающий человек, автор трех книг, докторскую готовит.

— В какой же он области специалист?

— В мифологии.

Об остальных доктор ничего сказать не мог; их и видел впервые, и никаких памятных разговоров с ними не случилось.

— Да, бедный Паша! — вздохнул Глинский, когда вопросы Сенькевича иссякли. — Всему виной нервы. Говорил я ему как-то весной, давай-ка, Павел, ко мне, хотя бы на двухнедельное голодание — я отделение лечения голодом веду, — пояснил он удивленному Сенькевичу, — небольшое отделение, на десять коек. Знаете, боятся новинок, но постепенно растем, еще одну палату обещают. Так вот, говорю, ложись, выйдешь, как юноша, все твои хвори голод сожрет, весь организм обновится... Между прочим, для всех людей интеллектуального труда — это самое плодотворное лечение. Вот вам при вашей напряженной умственной работе просто необходимо хотя бы раз в год небольшой курс, дней на десять... Горячо рекомендую...

— Да как-то не испытывал нужды, — отвечал ошарашенный этим советом Сенькевич. — Вроде бы еще здоров.

— Вот и надо поголодать, пока здоровы. У нас не хирургия — у нас курорт, играют полный день в бадминтон... Кто раз побывает — просятся...

— Я несколько иначе представляю себе курорт, — улыбнулся Сенькевич. Но что ответил вам Пташук?

— Он ответил: "Эх, милый доктор Глинский, если бы в дни голодания организм помимо больных клеток тела пожирал и больные клетки совести, я лег бы к вам на все сорок дней: не придумано еще такое лекарство, какое бы меня излечило". Я говорю ему: "Ты что, Паша, человека убил? Вторую семью завел? Шпионом стал?" — "Да, —

говорит, — убил. Вот этими руками. Сам себя!" И в хохот. Посмеялся и — хлоп меня по плечу: "Ладно, я пошутил. Подумаю, может, и попрошусь".

Никаких зацепок беседа не дала и прояснила немного. Все приехали поездом, который отходил с городского вокзала в девять пятьдесят; примерно в это самое время вор получал деньги в сберкассе. Единственным лицом из дачных гостей Децкого, которое имело необходимое для хищения время, оказывался брат Децкого, претендент на докторское звание. Он приехал машиной, причем позже всех, позже тех, что добирались электричкой. Версия о вине брата складывалась сама собой, и у Сенькевича пробудился к нему интерес.

Расставшись с доктором, он поехал в областную библиотеку и в читальном зале попросил книги Децкого Адама Ивановича. Ему выдали одну, стоявшую на полке новых поступлений. Книга называлась "Они жили в мифах" и была издана под эгидой академического института литературы. На обороте титула значились рецензенты — два доктора филологических наук. "М-да, — прошептал Сенькевич, — непохоже!" Он сел за стол и стал читать издательское предисловие. Автор рисовался в нем как "один из серьезнейших специалистов по языческой мифологии славян". "Перу А.И.Децкого, — читал Сенькевич, — принадлежит более двадцати статей по проблеме... им проведен оригинальный анализ обрядовой поэзии, из-под христианских напластований извлечены начальные смысл и слово... автором создана цельная картина мировосприятия древнего населения Подвинья, Побужья, Понеманья и Верхнего Поднепровья, в которой получили живые краски божества нашего Олимпа". "Труды Адама Децкого, читал Сенькевич, — являются крупным вкладом в культуру". "М-да, — вновь сказал себе Сенькевич, — это было бы нелепо".

Но хоть и казалось крайней нелепостью, что ученый, уважаемый людьми науки муж возьмется за уголовно наказуемое дело, да еще и в отношении собственного брата, следовало встретиться с ним и выяснить причину позднего приезда в Игнатово.

Сенькевич из библиотечного вестибюля позвонил в приемную института узнать номер сектора Децкого, затем позвонил в этот сектор, но ему ответили, что Адама Ивановича на работе нет и в ближайшие два дня не будет — он работает дома. Тогда Сенькевич обратился в паспортный стол и получил домашний адрес.

Через двадцать минут он входил в квартиру Децкого. Квартира оказалась коммунальной. Сенькевича встретил плач двух девочек, не поделивших куклу; из гостиной слышался телевизионный урок английского языка. Децкому принадлежала в этой квартире меньшая из трех комнат. Адам Иванович сидел за столом над кипой машинописи. Сенькевич поздоровался и назвался.

— Присаживайтесь, — предложил Децкий, указывая на узенький диван-кровать.

Кроме этого диванчика обстановку жилья составляли канцелярский письменный стол, канцелярский же одежный столбик и пара табуретов. Все пространство стен было занято самодельными, сбитыми из грубых досок, книжными полками. На полках, правда, впереди книг редко стояла всякая всячина, было и несколько дорогих вещичек — два бокала чешского стекла, золотая рюмочка, куст розового коралла, фотоаппарат «Зенит», нетронутая бутылка «Наполеона», транзистор, дымчатые импортные очки, стоившие у спекулянтов, что точно Сенькевич знал, тридцатку.

— Работаете? — спросил Сенькевич, невольно прислушиваясь к детскому крику.

— Надо, — ответил Децкий, — статью надо сдавать.

— Шумновато у вас, — сказал Сенькевич.

— Обычно я ночью работаю. Но ничего, уже мало терпеть, через год свою получу.

— Очередь подходит?

— Нет, к сожалению, кооператив.

Помолчав, Сенькевич спросил:

— Вы, наверно, в курсе, что у вашего брата похитили деньги?

— Да, — кивнул Децкий. — Ванда звонила.

— Это произошло утром двадцать четвертого июня, — сказал Сенькевич, на купалу. Я думаю, вы правильно поймете мои вопросы.

— Постараюсь.

— Мне важно знать, что вы делали в то утро, часов с восьми до одиннадцати?

— Вы полагаете... — удивился Децкий.

— Нет, не полагаю. Но наша работа, как и ваша, требует дотошности.

— Видите ли, мы с женой развелись, — погрузнев, сказал Децкий. — Дочь живет с ней. В субботу или воскресенье я забираю Люсеньку, и мы идем в кино, в театр или едем в лес или на озеро. Я ради нее и купил машину. Мне приятно ее катать, показывать ей заповедник... ну, да, наверное, вам понятно. Но в ту субботу жена отказалась отпустить со мной дочь, хоть и было договорено. Не знаю почему. Скорее всего, что ей не хотелось пускать Люсеньку к моим родственникам.

— Она сказала об этом утром? — уточнил Сенькевич.

— Нет, накануне вечером. А утром я проснулся поздно, томился, потом позвонил сотруднице, уговорил ее поехать со мной. Мы встретились в одиннадцать...

— Значит, все утро вы провели здесь.

— Да, дома.

— А где были ваши соседи?

— Уезжали в деревню. Они на каждые выходные ездят в деревню.

За стенкой сносное по громкости лопотание телевизора вдруг сменилось ритм-музыкой и песней на английском языке.

— Суббота — мой самый продуктивный день, — поделился Децкий. — Тихо, спокойно...

Сенькевич понимающе кивнул. Помолчали, дослушали песню.

— Сегодня похороны Пташука, — сказал Сенькевич. — Вы пойдете?

— Да, к двум часам.

— Кто сообщил вам о смерти? Юрий Иванович?

— Ванда. Днем. Юра как раз ездил за Верой. Мне очень жаль Павла, сказал Децкий, растирая виски. — Такая жуткая смерть.

Сенькевич вздохнул:

— Водка. Ночь. Дорога.

— Все так, — кивнул Децкий. — Но в сорок лет разбиться... Вот Юрина соседка разбилась, так ей хоть восемьдесят.

— Как, — удивился Сенькевич, — на машине?

— Ну, куда на машине. На лестничной площадке. В тот самый день, когда мы на даче купались и костер жгли. Шла, инсульт, смерть. Как говорится, ходячи. Бог, увы, делит не ровно.

— Причем весьма, — признал Сенькевич. — Скажите, Адам Иванович, ваш брат не предлагал вам займы на квартиру?

— Предлагал, и не займы, только я отказался.

— Если не секрет, почему же?

— Во-первых, я сам могу заработать, — сказал Децкий, — а во-вторых, по правде сказать, я должен ему тысячу. Он выручил меня, когда я разводился... И потом: у него своя жизнь, у меня своя. Я ведь давно мог найти должность с окладом, но хотелось другого...

— А вы никому не рассказывали про вклад брата?

Децкий задумался.

— Некому говорить, — ответил он скоро. — И вклад — какое мне дело.

Никаких позитивных сведений этот длинный разговор Сенькевичу не дал. С одной стороны, у Адама Децкого было достаточно оснований решиться на воровство: комнатка в шумной квартире, дряхлый раскладной диванчик, отживший свое стол, в перспективе многолетняя выплата за кооператив. И алиби у него ни на вечер, ни на утро не было никакого. Но — с другой Сенькевич интуитивно чувствовал, что Децкий чист. Из этого

следовал обещающий новые заботы вывод: среди близких друзей Юрия Ивановича преступника нет: четыре пары и Пташук сели в поезд, когда тот вор находился в сберкассе; Адам Децкий приехал машиной, но непричастен; Глинский сидел на даче с пятницы. Но книжка, думал Сенькевич, зачем преступник возвращал в чемодан книжку? Ведь не ради же смеха. Такой риск: вновь войти в квартиру и вновь выйти. Была цель, умный вор зря не рискует. И время, время, минут двадцать заняла эта операция. Не приносил бы книжку — успел бы на поезд точно.

Жалелось, очень жалелось Сенькевичу, что уже нет в живых Пташука. Он по всем внешним данным тоже включался в схему преступления: жена и сын на даче, доступ к ключам имел наилучший, привычки Децких знал назубок, одна заковырка — прибыл электричкой. А есть своя машина, думал Сенькевич. Если от дома Децких на вокзал машиной, а еще от сберкасы к дому Децких снова машиной, то появляются минуты, и немало. Сенькевич отметил в уме, что надо расспросить гостей Децкого, где именно встретились на вокзале, когда и кто первым увидел Пташука.

— Давай-ка, Валера, прокатимся с ветерком, — сказал Сенькевич водителю и определил маршрут: от сберкасы к дому Децкого, а затем — на вокзал.

Тронулись, Сенькевич засек время. Потребовалось соответственно три с половиной и шесть минут. К ним Сенькевич прибавил пять минут, затраченные на повторное посещение квартиры. Округленно выходило пятнадцать минут, и значит, преступник должен был выйти из сберкасы в девять тридцать пять. Но это противоречило рассказу кассирши. И еще одно рассуждение мешало Сенькевичу принять такие расчеты: Пташук не мог бросить на вокзале свою машину. А чужую? А частник? А такси?

— Сколько, Валера, сейчас времени? — поинтересовался Сенькевич.

— Час.

— Обедать не хочешь?

— Как прикажете.

— Ну уж, прикажете. Попрошу. Может, отложим на полчаса?

— Хоть на час.

И они поехали к дому Павла.

Во дворе уже собирался народ. Сенькевич вышел из машины и подошел к толпе. У подъезда в кругу деловых мужчин стоял Децкий. Недолго подождав, Сенькевич его окликнул.

— Юрий Иванович, прошу извинить, что в такой час, — сказал он раздосадованному Децкому, — но минутное дело. Нет ли здесь кого-нибудь из ваших купальских гостей?

— Почти все.

— Пригласите, если не затруднит. Я на скамеечке обожду. Кого-нибудь, кто ехал вместе с Пташуком электричкой.

Через минуту к нему был подведен равный Децкому ростом крепыш и представлен:

— Смирнов. Петр Петрович.

Оставшись с Петром Петровичем наедине, Сенькевич пригласил его сесть рядом и назвал:

— Моя фамилия Сенькевич, я — инспектор уголовного розыска. У меня к вам, товарищ Смирнов, несколько вопросов.

— Пожалуйста! — изговился Петр Петрович.

— Вы, как я понимаю, работали с Пташуком?

— Нет, он у Децкого работал, а я завскладом работаю.

— Мне не в том суть, — сказал Сенькевич. — Вы знакомы по работе?

— Да, по заводу.

— Так вот что меня интересует. Месяц назад вы ездили на дачу к Юрию Ивановичу. Постарайтесь вспомнить, где именно на вокзале вы встретились с Павлом Пташуком?

— Нигде, — ответил завскладом. — Мы с женой взяли билеты и сели в вагон. А встретились в Игнатово, на перроне.

— А не знаете, кто ехал вместе с Пташуком?

— Вроде бы никто. Каждые ехали врозь. Там такая была давка — сравнений для нее нет. Да и не договаривались встречаться...

— Ясно! — с приметной веселостью заключил Сенькевич. — Спасибо, товарищ Смирнов. Вы мне помогли.

— Что ж, рад, — ответил, однако, без радости завскладом.

Разговор, действительно, был полезным. Теперь версия о возможностях Пташука исполнить преступление получала реальную основу. Если не было встречи на вокзале, если каждая пара ехала сама по себе, отдельно от других, если компания сбилась в Игнатово по выходе их вагонов, то открывался простор для предположений, то Пташук терял зависимость от электрички. Задача его упрощалась, он получал свободное время; было бы лучше сесть в поезд, но не составляло беды и опоздать. От преступника требовалось одно — выйти на перрон в минуту прибытия поезда. Хитрость не отличалась оригинальностью — обогнать электричку машиной, явиться в Игнатово хотя бы минутой прежде. Технически исполнить такой ход легко: достаточно нанять частного или такси. Частника, конечно, предпочтительнее, но строить свой план в расчете на частную

машину, налагать на него такое жесткое условие, преступник не мог: везти за город, в Игнатово, незнакомого пассажира — такого владельца собственной машины надо поискать. Времени же в обрез. Если и попался отзывчивый на чужую просьбу частник, то разыскать его теперь нереально. Но ровно столько же шансов, думал Сенькевич, что преступник воспользовался такси.

В обед встретив возле столовой Корбова, Сенькевич направил его в таксомоторный парк навести соответствующие справки; сам же, дождавшись машины, решил провести небольшой эксперимент на возможном маршруте движения преступника из города в Игнатово. Проезд от дома Децкого до городской черты занял четверть часа, а отсюда до остановки «Игнатово» — двадцать минут. Сенькевич отпустил преступнику еще пять — десять минут на поиски машины в городе. Если события двадцать четвертого числа развивались в таком порядке, то, думал Сенькевич, Пташук вышел из квартиры Децкого в десять с чем-то, самое позднее, в десять пятнадцать. Концы сошлись. Походив по перрону, оглядевшись, Сенькевич решил, что преступник в ожидании поезда мог прятаться либо за станционной кассой, либо в туалете, других мест укрытия здесь не было. Поезд пришел, отворились двери, народ повалил на перрон и далее на дорогу, и тут преступник включился в толпу и прибился к знакомым.

Вернувшись в отдел, Сенькевич пометил на календаре два дела: узнать у Децкого, с какой сумкой прибыл Пташук на пикник; взять у Децкого для предъявления водителям снимок Пташука, сделанный в тот день на даче.

В шесть часов, когда он стал собираться домой, появился Корбов довольный, загадочный, веселый. По лицу помощника Сенькевич понял, что сейчас услышит нечто неожиданное. Но Корбов ни слова не сказал, а извлек из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, развернул его и положил на стол. Сенькевич прочел: "Фамилии и адреса таксистов, ездивших утром двадцать четвертого июня в Игнатово. Сведения подготовлены по заказу инспектора уголовного розыска капитана Децкого".

— Что это за Децкий такой? — удивляясь, спросил Сенькевич.

— А это тот Децкий Юрий Иванович, — ответил Корбов, — по заявлению которого мы следствие проводим.

Децкий вернулся с поминок в десятом часу. Хоть и выпил за поминальным столом достаточно водки, был совершенно трезв, и хуже, чем трезв, — был опустошен, горестен, сам себе неприятен. Это состояние пришло еще там, когда стоя пили первую. Вдруг осозналось, что Павла нет; все жрут, пьют, кто искренне, кто поддельно горюет, а его нет — отнят, изъят. И не сам факт смерти показался ужасным — все мы смертны, да, все, кто

в этот час плакал и хохотал, женился, рождался, работал, болел и кто тоскливо вздыхал, что Павлу выпал короткий век, все смертно — тут не было о чем горевать; ужаснуло другое, ужаснула мысль, что он сам спровоцировал эту смерть, поспособствовал ей, что рассказами о трусости Павла он всех пугал, вселял страх, ожидал какой-то решительной меры, что для собственного спокойствия он желал этой смерти, не убийства — так жестко желание не становилось, но исчезновения, немоты, отсутствия.

И случилось — Павел отсутствовал, онемел, исчез навсегда. И смерть случилась, когда он, Децкий, приблизился к тайне. Тогда, в моменты вечерних телефонных разговоров с Павлом, он уже не желал его гибели, сердился, но страх и злоба уже прошли, он уже примирился с его присутствием, с той опасностью, какую создает его страдание; но побуждение, сигналы на обрыв жизни Павла уже излучились, коснулись всех, и кто-то отреагировал. Теперь не имело значения, правильно или неправильно этот кто-то поступил. Смерть состоялась, и грех убийства не был личным грехом того, кто убил. Децкий чувствовал, что этот грех лег на него, вошел в душу и убивал душу. Нет, это не поминки, говорил он себе; он справит поминки, когда убийца получит свое, когда последует под могильный холм за Павлом, чтобы равно стало на весах. Он найдет убийцу; Децкий уже знал, как будет искать. Он думал, что уже имеет власть над убийцей, что ему дана возможность отомстить в любой удобный час — достаточно явиться к следователю Сенькевичу с повинной. И никто не спасется. Но Децкий знал, что никогда так не поступит. Есть своя жизнь, ее надо прожить сполна, и не там, а тут. Убийца должен исчезнуть, но он, Децкий, не имеет права исчезнуть вместе с ним, ибо жизнь за жизнь, а не две жизни за одну жизнь.

Есть убийца, и есть он — одинокий мститель. У него нет союзников, никто не поддержит его, никто ему не поможет; все хотят жить без перемен, без риска, без страха стычки с убийцей; все, кому Павел был опасен, радуются; у всех сквозь вздохи притворного горя слышен вздох облегчения. А если погибнет он, этим людям станет еще легче, страхи их ослабнут, земля под ногами, сейчас зыбкая, окрепнет.

Но кто решился?

Сквозь наплывы своих мыслей Децкий чувствовал, что знает разгадку, что он видел и что память его держит что-то такое, что сразу отвечает на вопрос: "Кто?" Он сел на тахту и, сжав виски руками и покачиваясь, попытался отыскать это важное, притаившееся в уме знание. Но горечь, чувство вины перед Павлом тяготили ум, он не мог отрешиться, расслабиться, освободиться, установить в мыслях покой.

Неожиданно зазвонил телефон, на звонок выскочил из своей комнаты Саша, и Децкий крикнул ему: "Меня нет!", но сын, не сообразив, ответил в трубку: "Да, сейчас позову".

— Слушаю! — сказал Децкий и поморщился, узнав голос следователя.

— Юрий Иванович, прошу извинить за поздний звонок, — говорил Сенькевич. — Я прошу вас завтра утром приехать ко мне, есть очень важное дело.

— Какое? — машинально спросил Децкий.

— По телефону не расскажешь. Так когда вам удобно?

— Мне все равно, — сказал Децкий.

— Ну, что ж, давайте в девять.

— Хорошо, — согласился Децкий, — я приду в девять.

Все прежние горести после этого короткого разговорчика померкли и смялись, отодвинулись назад, а напоззло насущное — гадание о завтрашнем дне. Что за дело, думал Децкий, что они там надумали? Может, допетрили, досверлились, придешь своими ногами — и под стражу. Но как, откуда, каким образом могли узнать? Никак не могли — на заводе не были, в «Хозтоварах» не появлялись, Петькин склад не посещали. Нет, не о том у них дело, думал Децкий, совсем не о том. Но о чем? Какая важность открылась? Может, с Пашиной катастрофой что-нибудь прояснили или заподозрили, предположил Децкий. Но вызов по этому вопросу не пугал: он ни при чем, он знает не больше их, ну, чуточку побольше, но не скажет. Самые странные строились предположения, и строились они долго, пока не протюкалось сквозь разную несурязицу одно — более всех возможное и весьма неприятное, — что каким-то образом следователь узнал про его запросы в таксопарке. Сразу и представилось, каким образом мог узнать. Главный инженер рассказал. Нашли еще одного, или двух, или трех таксистов, ездивших в Игнатово, и тот поспешил сообщить. Сам позвонил в горотдел, спрашивал капитана Децкого и, конечно же, наткнулся на удачливого майора. Главного инженера Децкий мгновенно возненавидел. Вот кто был виновником. Скотина, думал Децкий, медвежья скотина. Воистину: скажи дураку молиться — он лоб разобьет. Держит же земля такого барана. Разве просили тебя, осла, звонить, мысленно кричал ему Децкий. Всё эта наша прославленная халатность: месяц будут собирать справки, расспрашивать людей в день по одному. И все, что можно было дурного пожелать услужливому администратору, Децкий желал с сильным чувством: и ноги поломать, и провалиться, и околеть, и лопнуть, и ссохнуть, сдохнуть и сгореть. Но что с проклятий? Никакого толку не было в таком остервенении — истерическая трата нервов.

Если все так, если зовут по этой причине, думал Децкий, то худо дело главную ниточку получит в свои руки следователь Сенькевич. А уж там катись, клубочек, указывай да показывай. Рок, сказал себе Децкий, вот как просто действует рок.

Сложив за спиной руки, он стал уныло бродить из спальни в гостиную и опять в спальню, обдумывая возможные опасности. "Что ты мечешься!" — сказал он сам себе вслух. Положим, узнали и расспросили таксистов. Ну и что? Какая беда? Никакой особой беды ему не увиделось. Ну, известно следователю Сенькевичу, что он, Децкий, назывался инспектором уголовного розыска и предъявлял снимок. И слава богу! А как иначе было представляться? "Здравствуйте, я — обворованный, гадаю, кто двенадцать тысяч спер!" У него документов не спрашивали, он фальшивых удостоверений не предъявлял. Главного инженера, того вообще в глаза не видел. Тут не прицепишься. А снимок, а недоверие к друзьям — дело естественное: пропали деньги — хочешь не хочешь, а кого-то надо подозревать. И вовсе не всех, думал Децкий, отработывая наилучший ответ, а Пашу, Пашу, только его. Он ехал в одиночку, он безнадзорно провел утро, он знал больше других — на нем и тень. А все прочие парами — жена мужа защитит. Попробуй-ка докажи, что Данила или Петька добирались попуткой, а не поездом. Вне доказательств. Павлуша, бедный, только что-то видел, да с собою унес. Нет, думал Децкий, зряшное дело по этой дорожке идти; но пусть идут — там тупик.

Пусть самое худшее, думал Децкий позже, пусть на завод придут дознаваться. Неприятностей доставят много, это само собой. Поползут сплетни, завистникам в радость будут шептать: дыма без огня не бывает, Децкий — вор, Петр Петрович — вор, Паша покойный — тоже был вор, грабили завод, чужим трудом себе дачи, машины, барахлишко сбили. Да, сбили, а ты докажи, что сбили! Ну, ославят на весь город, с заводика придется сматываться, да ведь и так решено сматываться. И господи, вот так ужас, вот так страх — слова дураков; потрепятся и замолкнут. А что репутация подмокнет, так черт с ней, с репутацией, он в министры не целит. А уж что частное следствие не поощряется, так тут извините: милиция эти двенадцать тысяч вовек не вернет — сил не хватит сыскать, а не дай бог сыщет — все равно не вернет, еще и другие отнимет. Так что, спасибо за звонок, гражданин Сенькевич, — приготовимся — и в обморок не упадем.

Децкий зашел к сыну — Саша читал.

— Э-э, брат, спать пора, — весело сказал Децкий.

— Еще полчаса, папа. Самое интересное место.

— Ну, если самое интересное, — согласился Децкий. — Только честно полчаса, — и повернулся уйти.

— Папа! — окликнул Саша. — А что такое смерть?

Децкий удивленно взглянул на сына.

— Смерть, — сказал он, — это, сынок, конец жизни. Небытие, вечный мрак, ничто.

По глазам сына Децкий видел, что тот не понимает. А кто понимает? подумал Децкий.

— Смерть — это больно? — спросил Саша.

— Наверное, — ответил Децкий. — Живые не знают, мертвые не рассказывают.

— Дяде Павлу было больно?

— Ему — да! — сказал Децкий. — Ему было больно. А может быть, и нет. Ведь он не знал. Он не успел испугаться.

— Папа, — вдруг с затаенным страхом попросил сын, — ты не ездил на машине.

Этот страх передался Децкому; он почувствовал оледенение всех клеточек тела, моментальную остановку бега крови, биений, пульсаций, всего творчества организма, но спустя миг все задействовало, заработало, вернулось в прежнее живое движение.

Децкий улыбнулся.

— От судьбы, Саша, никто не уходит, — сказал он. — Самолеты разбиваются, корабли тонут, в кого-то молния бьет, другой лежит на печи ему сердце отказывает... Всех бед не опасешься. Ты не волнуйся, сынок, я буду очень осторожен, еще внуков твоих понянчу...

Децкий прошел в спальню, разделся и решил спать. Но лег — и нашло к нему страхов. Стало страшно, что самого могут убить, как убили Павла. Пусть не так, так он не поддастся, но мало ли как можно убить. Стало страшно, что засудят, посадят, и останется Сашка без отца, только с Вандой, вдвоем на один ее окладик. Набедствуют, настрадаются, и неизвестно, кто из него вырастет в таких условиях. Тут же Децкий зарубил в памяти, что необходимо в ближайший день-два превратить в деньги вещи подороже, а деньги спрятать, хотя бы Адаму на хранение отдать. Если уж случится беда, то Саша за его глупость страдать не должен. Пришло и сожаление, что впутался в махинации; а жил бы спокойно, не рвался бы за тысячами, так и не боялся бы сейчас тюрьмы и горя.

Вспомнилась давняя, из юности, ночь. Он и Адам лежали на койках; это были зеленые солдатские койки с досочным подстилом и тонкими ватными тюфяками; о чем говорили в ту ночь, почему оба не спали, Децкий не вспомнил, не в том было дело, припомнились не слова, ощутилась вдруг безупречность чувств той ночи, вообще, тех лет, бесстрашие, радость своего безгрешия, прочность быта, какой установили родители. Отец берег свою совесть; дома любили тех, у кого чистая совесть, презирали тех, у кого нет совести; такая была главная мерка для людей и поступков. Мать и отец спали на голубой кровати с никелированными шариками. Книги стояли на этажерке, и книг было мало, за

книгами ходили в библиотеку. Мать десять лет носила одно зимнее пальто с маленьким каракулевым воротником. Когда собирались друзья, пили водку или вино, коньяк никогда не брали — считалось дорого; пили немного, больше беседовали — весело и свободно.

Эти воспоминания о прошлой жизни текли сами собой; всплывали в памяти разные предметы домашней обстановки: бумажный абажур, трофейное, в ржавых пятнах зеркало, алюминиевые вилки и дешевого стекла рюмочки, истертый коврик между кроватями; банки варенья на шкафу. Видя то давнее, исчезнувшее уже жилище семьи, Децкий думал, что во всем обогнал он своих стариков, что им и не снились хрустальная люстра в гостиной, и мягчайшие матрасы, где в шелк были затянуты тысячи тонких, нежных пружин, и гарнитур в стиле барокко, и костяной фарфор, и серебряные ножи, и облицованная зеркалами ванная, — многого он достиг, такое, как здесь, родители видели исключительно в кино. Одного не было у него — спокойствия и чистоты на душе. А у них было.

Вот почему Паша стал спиваться, подумал Децкий. Совесть ныла.

У Адама чистая совесть. У следователя тоже скорее всего чистая. У Катьки совесть грязная, но она считает, что чистая. У Петра Петровича вообще совести нет. У Данилы тоже совести нет, а думает, что есть. У Виктора Петровича если и была, то слабая — издохла. У Катькиного коллекционера, коль дружит с Катькой, тоже грязная совесть. И ничего живы, здоровы и дальше будут здравствовать. Чистота на душе — дело роскошное, подумал Децкий, не меньшего требует эгоизма, чем темнота. Вот у Адама все чисто, все честно, но какой ценой? Сидел над талмудами, приносил в дом сто рублей, и жене приходилось надрывать жилы, и остался один как перст. И отец грешить избегал, зато мать пахала и на службе, и дома, каждый рубль в уме пересчитывала. Разве Адам — настоящий мужчина? И отца — хоть и славный был человек — трудно назвать настоящим мужчиной. Мужчина добытчик, в прежние времена оружием добывал, сейчас нельзя оружием — надо хитростью да умом. А грязная совесть, чистая совесть — это для школьников. Самоутешение глупцов: хоть глуп, зато совесть чиста. Лучше без совести ездить на машине, чем, кичась совестью, таскаться пешком... Поздно о такой чепухе думать. Теперь уже, чтобы совесть очистилась, надо в тюрьму лет на восемь засесть. Дорогая цена, сказал себе Децкий, не по товару.

С этими мыслями он заснул, с ними же и проснулся. Позвонил Ванде — она ночевала у Веры, накормил сына, напился кофе и поехал в горотдел. В пять минут десятого он вошел в кабинет майора.

Как он и ожидал, при следователе сидел его молодой фатоватый помощник — в настоящих джинсах, рубашке на кнопках, с выставленным наружу браслетом автогонщика.

Децкому предложили сесть, он сел и вопросительно уставился на Сенькевича.

— Не хочу скрывать от вас, Юрий Иванович, — сказал Сенькевич, — что я испытал немалое удивление, узнав о вашем следствии...

Вот оно, то важное дело, подумал Децкий и испытал облегчение.

— Не буду предъявлять вам претензий, — говорил Сенькевич. — Вы и сами, надеюсь, сознаете, что выступать от имени уголовного розыска не имеете права. Частное следствие потому и называется частным, что не связано с официальными органами дознания. Тем более что в нашей стране институт частного следствия не разрешен вообще. Я обязан вас предупредить, что вы стали на грань противозаконных действий. Хорошо, однако, что вы немного успели.

— Мне было интересно, — сказал Децкий.

— Я понимаю ваши побуждения, — кивнул Сенькевич, — и подходить к делу формально мы не будем. Поговорим по существу. Итак, вы — частный детектив, мы — официальные следователи, и вот мы встретились поделиться мыслями по делу хищения с вклада двенадцати тысяч рублей.

Хоть и было сказано "поделиться мыслями", но Децкий понимал, что здесь, в этом кабинете, ни о каком обмене мыслей и речь не пойдет, а придется ему рассказывать, причем убедительно рассказывать, сшивать правду с ложью прочно. Ему стало не по себе.

— Вы позвонили в таксопарк и попросили назвать таксистов, ездивших в Игнатово двадцать четвертого июня до одиннадцати часов, — сказал Сенькевич. — Зачем?

— Я думаю, что воровство, — сказал Децкий, — мог совершить или кто-то из сберкассы, или какой-нибудь сосед, или кто-либо из друзей. И я решил проверить своих, чтобы не оставалось сомнения в личных отношениях. Единственным человеком, который стал под мои подозрения, был Павел.

— Почему он? — спросил Корбов.

— Потому что на дачу, как я узнал, он ехал в электричке один. Никто его не видел. Я предположил, что он мог доехать в Игнатово на такси и тут смешаться с пассажирами электропоезда.

— Разве вы ему не доверяли? — спросил Сенькевич.

— Доверял, как себе. Но подозрение возникло. Я хотел проверить...

— Когда вы обратились к таксистам, Пташука уже не было в живых, сказал Корбов. — Какой смысл имела такая проверка?

— Никакого. Но мне надо было снять сомнение.

— Значит, из всех друзей вы заподозрили только Пташука? — спросил Сенькевич. — Его одного?

— Да, — сказал Децкий.

— Почему же все остальные вне подозрения?

— Они ехали парами.

— А если они парами приехали в такси?

— Этого не может быть, — ответил Децкий.

— Почему?

— Никто из них не знал о вкладе.

— А ваш брат?

— Не подозревать же мне брата, — сказал Децкий.

— Вы давно дружили с Пташуком? — спросил Корбов.

— С института.

— Значит, лет двадцать. И все же усомнились?

— Надо же на кого-то думать.

— В честности остальных ваших знакомых вы не сомневаетесь?

— Нет.

— Только в честности Пташука?

— Так складывается, — сказал Децкий.

— Вы предъявляли таксистам групповой снимок?

— Да.

— Почему ж не одиночный снимок Пташука?

— Не было одиночного.

— Но ведь вы могли его сделать.

— Не догадался, — ответил Децкий.

— Кто-нибудь из соседей знал о вашем вкладе? Вы кому-нибудь говорили о нем?

— Никому.

— А кто из соседей бывал у вас дома?

— Как правило, никто.

— А вне правила?

— Соседи по лестничной площадке.

— Это у них умерла старушка двадцать четвертого июня? — спросил Сенькевич.

— Да, — кивнул Децкий.

— Она упала на лестничной площадке?

Децкий вновь кивнул.

— В какое время, не знаете?

Децкий захотел ответить: "Не знаю!", но вырвался, однако, совершенно нечленораздельный звук, какое-то хрипкое карканье. Он откашлялся и сказал:

— Знаю, что утром. Но точное время не знаю. Нас не было.

— А какие соображения, Юрий Иванович, привели вас утром на Веселовское шоссе? — спросил Корбов.

— Мне хотелось увидеть место катастрофы. Не верилось, что Паши нет.

— Вам было горько за Пташука?

— Да.

— Но вы тут же поехали к таксистам?

Децкий почувствовал, что потеет. И стул начал припекать, словно заложена была под сиденье и сейчас включена Сенькевичем электроспираль.

— А Смирнов Петр Петрович — честный человек?

— Без сомнения.

— Кажется, у вас в гостях была заведующая комиссионкой?

— Да, Екатерина Трофимовна Мелешко.

— С кем она приехала?

— С приятелем. Я мало знаю его. Он, кажется, военный историк. Знаю, что коллекционирует оружие.

— Вашим гостем был также заведующий магазином «Хозтовары». Он друг вашего дома? Часто у вас бывал? Вы хорошо знаете его?

— Неплохо.

— Он — честный человек?

— Очень уважаемый человек.

— Значит, из всех близких знакомых, собиравшихся к вам на дачу, только Павел Пташук был способен на подделку подписи, воровство облигаций и похищение денег? Один он?

— Нет! — сказал Децкий. — Он меньше всех остальных. Я сам в это не верил. Это были предположения. Нашел какой-то зуд, мне доставляло утешение что-либо делать...

Мыслями пришлось делиться полтора часа, и Децкий вышел на улицу, как из операционной, — шатало, мутило, ноги не слушались, руки дрожали, в голове был полнейший сумбур. Его версия с Пашей прозвучала неубедительно, даже глупо — самого близкого друга заподозрил, а дальних — не осмелился. Не приходилось сомневаться, что

следователи начнут проверять всех. А более всего саднил вопрос о старухе. И надо же, морщился от досады Децкий, каркнуть в ответ, словно из рогатки попали.

Он отъехал два квартала и остановился, не чувствуя сил вести машину; надо было прийти в себя, обдумать последствия неудачной беседы.

Еще вечером, решившись на превентивный разговор с Децким, Сенькевич постановил познакомиться с его приятелями. Встреча утвердила его в этом решении. Убежденность Децкого в непричастности знакомых к преступлению на том лишь основании, что они ехали парами, что каждый мужчина находился под надзором женщины, имел женское свидетельство в свою пользу, не казалась состоятельной. Вспыхнувшая во время беседы догадка о возможном исполнении воровства парой, об отсутствии какой-либо из супружеских пар в поезде имела не меньшее право считаться гипотезой, чем версия о вине одиночки Пташука. Децкий — если говорил правду — совершал психологическую ошибку. Однако и он сам, и они вместе с Корбовым не думали о паре. Децкий, возможно, предполагал и такой вариант, но пара защищена двойной связью. Тем более следовало составить мнение о каждой. Из дальнейших дел тут же спланировались графологическая экспертиза почерков всех гостей Децкого, изготовление фотопортретов каждого гостя-мужчины для предъявления контролеру и гражданам, которые в то утро посещали сберкаассу. Некстати появилась в этой истории и старушка — соседка восьмидесяти лет. Упала разбилась; может, в то утро и было ей начертано умереть, но теперь без проверки обстоятельства ее смерти уже не обойтись. Вор торчал в квартире все утро, может быть, вечером туда пришел, дважды выходил между девятью и десятью, и как раз в это время произошла беда с соседкой. Она шла по лестнице, то есть могла разминуться с преступником, была потенциальным свидетелем. С делом Децкого связывалась вторая смерть, и это тяготило.

Следовало с чего-то начинать, и Сенькевич решил встретиться с людьми. Приглашать друзей Децкого для знакомства в отдел он раздумал сразу. В кабинете большинство людей держится напряженно, несловоохотливо, с оглядкой, и к тому же достаточного набора емких вопросов он и Корбов сейчас составить не могут; иное дело — посетить их на дому, где о характере хозяев говорят вещи и где приватная обстановка беседы располагает к пространным ответам.

Исполняя этот план, Сенькевич тотчас же по уходе Децкого направил Корбова по двум заданиям: узнать подробности падения и смерти старухи; посмотреть в отделе кадров торгова личные дела директора и заведующего отделом магазина «Хозтовары». Сам же Сенькевич позвонил Екатерине Трофимовне Мелешко. По голосу Сенькевич определил, что разговаривает с дамой деловой, и в тон ей сообщил, что ему по важному

делу надо Екатерину Трофимовну повидать. Собеседница сказала, нездоровой, неспособной выходить. Тогда Сенькевич попросил разрешения зайти. На другом конце провода последовала заминка, но короткая, и отвечено было: "Пожалуйста!"

Сенькевич, не задерживаясь, поехал к Мелешко. Его встретила пышногрудая, молодящаяся особа, одетая не то в халат, не то в бурнус и опоясанная толстым шерстяным платком. На вешалке он заметил фирменное джинсовое платье, за которое, как он знал, спекулянты драли двести пятьдесят рублей. Его пригласили в комнату, это оказалась просторная гостиная; приоткрытая следующая дверь показывала спальню хозяйки — широкую низкую кровать, сочного карминного цвета стены. Войдя и сев в кресло, Сенькевич удивился — квартира была богатая, обставленная явно не по средствам одинокой женщины. Мебельный гарнитур терялся в комнате, но стоил такой гарнитур три тысячи рублей, на полу лежал настоящий восточный ковер, телевизор был цветной, японский магнитофончик, небрежно брошенный на диван, стоил никак не меньше девяти сотен, на стенах висели три декоративные тарелки — антиквариат, и все, чего ни касался глаз на полках серванта, было дорогое, добротное и малодоступное.

Екатерина Трофимовна ненастойчиво предложила кофе, Сенькевич отказался; тогда хозяйка села напротив и сказала: "Слушаю вас!"

— Вы, может быть, знаете, — спросил Сенькевич, — что у Децких двадцать четвертого июня по поддельному ордеру была похищена значительная сумма?

— Да, Ванда рассказывала, и Юрий Иванович говорил.

— Меня интересует, как в то утро гости добирались в Игнатово. В частности, как ехали электричкой: все вместе? раздельно? виделись ли в вагонах? Как встретились на перроне?

— Это имеет какое-либо отношение ко мне? — удивилась хозяйка.

Сенькевич объяснил:

— Мне хочется иметь полное представление.

Екатерина Трофимовна понимающе кивнула и пустилась в довольно подробный рассказ об этой поездке, то есть, что ехала к Децким со своим приятелем в одном из средних вагонов, в поезде никого из знакомых не видели и при всем желании не могли увидеть из-за тесноты, а на перроне в Игнатово к ним первым подошел Данила Григорьевич с женой.

— А в каком часу вы встретились с вашим приятелем? — спросил Сенькевич.

В глазах хозяйки промелькнула смешинка.

— Это совершенно не может иметь отношения к вашим интересам, — сказала она.

— Ну, если это секрет, не буду настаивать.

— Секрета здесь нет никакого, — ответила хозяйка, — это, так сказать, личная жизнь. Мы встретились предыдущим вечером. Видите ли, Олег Михайлович — мой близкий друг. Он здесь ночевал, и отсюда мы в восемь утра направились на базар, купили абрикосов и поехали на вокзал.

— У вас есть машина? — поинтересовался Сенькевич.

— Есть, — сказала Екатерина Трофимовна.

— Наверное, было бы удобнее ехать в Игнатово машиной?

— Конечно, удобнее. Душиться в электричке удовольствие небольшое. Но хотелось отдохнуть; к тому же ужин был, вино. Никто и не приехал машинами.

— Брат Децкого приехал машиной, — поправил Сенькевич.

— Ну, он еще не остыл, — улыбнулась хозяйка. — Что у него там, на счетчике, едва тысяча километров.

— Может быть, вам сильно нездоровится, — спохватился Сенькевич, — а я вас утомляю?

— Нет, ничего. Это почки. Сижу дома, греюсь. Благо, что участковый врач — добрый человек, дает бюллетень.

— Вы работаете заведующей магазином? — спросил Сенькевич.

— Я работаю заведующей комиссионкой, — уточнила Екатерина Трофимовна. — Номер шестнадцать.

— Это, кажется, универсальный комиссионный магазин?

— Да, слава богу!

Крылись, чувствовал Сенькевич, за этой женщиной какие-то тайны, но страха, настороженности, волнения не ощущалось совсем; вопросы его она встречала с безразличием, отвечала внятно и легко; он понял, что у нее есть толковые, безобидные трактовки всему; даже если спросить, откуда она располагает деньгами для покупки дорогих вещей, она ответит без промедления и убедительно, например, что выиграла по лотерее «Волгу», но получила денежную стоимость, и проверка покажет, что она действительно предъявляла к оплате счастливый билет. Крепкая бабенка, подумал Сенькевич. Но где берет эти тысячи? Ведь все это куплено до кражи у Децких. Неужто в комиссионке финтит? Может, и финтит, подумал Сенькевич, но знакомых, по крайней мере, не обкрадывает. Он спросил, хорошо ли Екатерина Трофимовна знала покойного Павла Пташука.

— Да! — односложно ответила Мелешко, и тут повеяло от нее на Сенькевича холодной струей, какой-то нервный центр от этого вопроса замер и оледенел. Это было странно.

— Он не очень меня жаловал, Паша, — сказала Мелешко, словно почувствовала, что Сенькевич удивился. — Ему моя нравственность казалась не строгой. Он был романтического склада — одна любовь, многолетнее страдание по одной любви, верность печальному образу, платонические страсти, словом, всякие такие смешные у взрослого мужчины чувства. Я посмеивалась над ним, называла мальчиком, он меня — совратительницей. Не скажу, чтобы мне это было приятно. Но, впрочем, мы дружили. Его тянуло ко мне. Может быть, потому, что чувствовал себя слабее.

— Почему же он пил? — спросил Сенькевич.

— Он пил не больше остальных, — сказала собеседница. — Во всяком случае, я никогда не видела его пьяным. Подвыпившим часто, но пьяным никогда. Вот по телефону иной раз — язык заплетался.

— А когда вы видели его в последний раз?

— На даче у Децкого, на купалу.

— А позже он звонил?

— Звонил, — сказала Мелешко. — Он звонил в свой последний вечер. Это было в часов одиннадцать. Мне болели почки, я грелась в ванне. Вдруг зазвонил телефон. Олег Михайлович снял трубку и говорит мне: "Тебя Павел зовет". Мне не хотелось выходить из воды, и я сказала передать, что скоро позвоню. Через минут пятнадцать позвонила, но телефон был занят. Потом я позвонила еще раз, вновь — гудки. Теперь жалею, что поленилась подняться, но как раз за минуту до Паши звонил Децкий, я тоже не подошла, и вот так получилось, что не поговорили.

— Жаль! — сказал Сенькевич.

— Да, — вздохнула Мелешко. — Жаль!

Для домашнего свидания разговор был достаточным, Сенькевич решил прощаться. В прихожей он задержался на миг у настенного перекидного календаря зарубежного производства. Календарь предназначался сугубо для дам, поскольку проиллюстрирован был снимками идеальных мужчин; текущий июль олицетворялся выходящим из моря культуристом — два метра ростом, широкие плечи, вздутые мышцы, ни капли жира, перламутровый ряд зубов. "Красивый парень", — сказал Сенькевич. "Картинки!" — с пренебрежением махнула рукой хозяйка. Тут Сенькевич, вспомнив, попросил адрес ее приятеля. Без удивления и нежелания Мелешко назвала адрес Олега Михайловича.

Он жил на соседней улице и оказался дома. Сенькевич представился, удивленный коллекционер пригласил его войти. Переступив порог, Сенькевич очутился в музее. Двухкомнатная квартира была вся обшита тонированной вагонкой, и на стенах продуманно, не очень густо держались в нейлоновых петлях разные штуки старинного

оружия. Сенькевич заинтересовался, и состоялась короткая экскурсия по квартире, хозяин объяснял: а вот фузии начала прошлого века, вот наполеоновские багинеты, а это нагрудный офицерский панцирь, а вот итальянская дуэльная шпага, а этот арбалет муляж, сам изготовил по чертежам; жемчужиной коллекции он назвал турецкую саблю, изогнутую полукругом, клинок которой завершался длинным шипом, Сенькевич не мог вообразить, как таким оружием возможно было рубиться. Висели на стенах и несколько кистеней и пара жутких — шириною в ладонь старых белорусских кинжалов, но чего-либо сверхобычного Сенькевич среди этого множества игрушек не заметил. Обстановка обеих комнат отличалась строгостью, правда, спальный уголок выдавал пристрастие хозяина к комфорту и неге, но духа дорогих вещей, духа опредмеченных тысяч, которым дышала квартира Екатерины Трофимовны, здесь не чувствовалось.

Необычным показалось Сенькевичу, что Олег Михайлович работал экскурсоводом на междугородных маршрутах. Он спросил, насколько это выгодно в материальном отношении.

— Когда двести рублей в месяц, — был ответ, — когда двести пятьдесят, бывает, и сто. Главное, что сам себе хозяин и есть свободное время — можно подработать.

— Каким же образом? — поинтересовался Сенькевич.

— Например, оформить экспозицию в районном музее.

— А эту коллекцию вы давно собираете?

— Да уже двадцать шесть лет, — похвастался Олег Михайлович. — Отец был любитель.

— Но, верно, трудно собирать оружие?

— Да, это не марки, — сказал коллекционер. — Хотя и марки теперь непросто — конкуренция.

— Интересно, Олег Михайлович, — спросил Сенькевич, — в какую же сумму оценивается ваша коллекция?

— Непросто ответить, — сказал коллекционер. — Ну, этак в тысяч пятнадцать. Москвич один предлагал мне восемнадцать тысяч.

— А вы не боитесь, что ее уведут?

— Коллекция зарегистрирована, — улыбнулся Олег Михайлович. — Сбыть ее сложно. И войти в дом, когда меня нет, нельзя — замки особой секретности.

— Замки — для честных людей, — сказал Сенькевич. — Вот у вашего знакомого Децкого Юрия Ивановича два замка было...

Коллекционер суеверно трижды стукнул пальцами по столу.

— Да минует нас чаша сия, — сказал он.

Перешли к делу. Тут Сенькевич ничего нового не узнал. Ответы Олега Михайловича в точности совпадали с рассказом Мелешко. Различие заключалось в том, что и Децкого, и покойного Пташука, и остальную компанию, собравшуюся на даче в злополучный день, коллекционер знал мало, личных контактов с ними почти не имел, если не считать нескольких встреч на праздники, когда сопровождал Катю. Отношения у него с ними такие, что к нему на квартиру никто из них не заходил; однажды, помнится, год назад, были Децкий с женой — смотрели коллекцию.

Все это говорилось непринужденно, даже весело, с сознанием своей невинности, своей отдаленности от тех людей, безразличия к их радостям и бедам или же, подумал Сенькевич, с сознанием полной недоступности для следствия своих секретов. Каких секретов? Неизвестно каких, может быть, секретов выменивания, покупки, продажи старого оружия.

Наконец Сенькевич попросил рассказать последний разговор с Пташуком, и коллекционер сказал:

— В тот вечер я был у Екатерины Трофимовны. Она позвонила в восьмом часу, плохо чувствовала себя, я пошел к ней. Кате болели почки, она лежала на грелке, потом залезла в ванну. Уже было поздно, как позвонил Децкий. Он спросил Катю, я ответил, что Катя в ванне, и он повесил трубку.

— Извините, Олег Михайлович, — перебил Сенькевич, — в какое примерно время был этот звонок?

— Примерно в половине одиннадцатого. И буквально минут через пять позвонил Пташук. Услышал, что Катя не может подойти, извинился...

— Был пьян? — спросил Сенькевич.

— Язык заплетался. Так вот, он принес извинения и сказал: "Ладно, пусть моется, потом позвоню". Потом Катя ему звонила — телефон был занят...

В этот момент дважды протренировал дверной звонок. Коллекционер пошел открыть. К неожиданности Сенькевича визитером оказался Децкий, но и Децкий, заметив в глубине квартиры следователя, не смог скрыть удивления и на пороге замешкался. Единственно Олег Михайлович не высказал никаких чувств.

— Добрый день, Юрий Иванович, — говорил он. — Входите. Нет, обувь не надо снимать. А вы легки на помине.

Децкий вошел в комнату, настало молчание.

Сенькевич присмотрелся, что облик Децкого за час разлуки изменился к худшему: верхняя губа была рассечена, припухла и задралась, несильно рассечена, но кровавый посек виднелся, распухшим был и нос, не стало шелкового галстука, а рубашка стала

мокрая. Очень хотелось спросить, что с Юрием Ивановичем случилось. Но Сенькевич пересилил себя и не спросил.

— Может быть, кофе? — разрушая тягостную тишину, предложил хозяин.

— Спасибо, — отказался Сенькевич. — Мне пора.

Спустившись во двор, он заметил на дворовой стоянке машину Децкого и решил узнать, как долго тот пробудет у коллекционера. Интересненькие ребята, думал Сенькевич. Оба твердят, что шапочные приятели, а Децкий после неприятнейшего утреннего разговора приезжает именно сюда — к малознакомому человеку. Зачем? Следствие продолжать? Советоваться? Делиться?

Избрав наблюдательным пунктом подъезд соседнего дома, Сенькевич стал ждать.

Децкий, столкнувшись со следователем, сильно растерялся, но смутило ему душу не любопытство Сенькевича к коллекционеру — в неизбежности такого любопытства и такой встречи он был уверен; смутило и потрясло действие судьбы, вновь сведшей его и следователя лицом к лицу на одной колее. Он мог приехать позже и мог предварительно позвонить и говорил себе, что ехать без звонка нелепо, но не позвонил в каком-то странном убеждении, что обязательно застанет Олега Михайловича дома; что-то подстегивало его торопиться, казалось, что Олег Михайлович собирается уходить и лучше не тратить время на звонки, а поспешить явиться лично, внезапно, не создавая условий для отказа, для отнесения встречи на другой час или другой день. И вот же, явился — вопреки здравому смыслу, на свою же голову, приоткрыл следствию новую карту. Черт с ним, пусть думает, что хочет, успокаивал себя Децкий. Его работа такая — думать. Все равно на один ход отстает. И настроение не располагало к долгим переживаниям. Дурное было настроение, злое, злобное; еще не остыло бешенство, в какое привел его Виктор Петрович.

Он приехал к Виктору Петровичу в начале одиннадцатого, и беседа с первых же слов, даже с первого взгляда, которым встретил его в дверях завоцделом, приобрела нежелательный, воинственный характер. Сам приход Децкого, возникновение его на пороге квартиры доставляли Виктору Петровичу боль; он сразу же решил выказать свою позицию и, не приглашая в комнаты, заявил:

— Ей-богу, Децкий, я не понимаю, зачем вы пришли!

— Сейчас объясню, — еще в спокойствии духа ответил Децкий и прошел в гостиную. Здесь он сел в кресло, закурил и сказал раздраженному хозяину:

— У меня стибрили двенадцать тысяч и на две тысячи облигаций. Возможно, для вас такая сумма — пустяк, но мне она дорога...

— Но при чем тут я? — вспыхнул Виктор Петрович. — Или вы думаете, что я украл ваши деньги?

— Я много чего думаю, — холодно сказал Децкий. — В данный момент это неинтересно. А интересно знать, что вы делали утром двадцать четвертого июня; когда вышли из дома, как ехали на вокзал, видели ли вас соседи или вы соседей, кого и где, а также, что вы делали вечером три дня назад, кто вас видел, где и тому подобное, и прошу все очень подробно.

— Послушайте, Децкий, — чернея, ответил Виктор Петрович, — я знать ничего не хочу. Оставьте меня в покое. Вы десять лет вели какие-то делишки, мне не хочется быть ответчиком...

— А денежки, сука ты этакая, тебе получать хотелось, — сказал Децкий. — Что же ты раньше не брыкался?

— Брыкался не брыкался, но по горло не увяз. Так что лучше нам не видаться. Дверь открыта, извольте встать, мне пора на работу...

Децкий, не заставляя себя упрашивать, встал и всадил кулак Виктору Петровичу под дых. Тот сломился в поясе и упал на ковер. Тогда Децкий поднял его за плечи, еще разок, но полегче, ударил в лицо и толкнул в кресло.

— Со мной, Виктор Петрович, так не обращаются, — сказал он, когда к собеседнику вернулось дыхание. — Мне все равно, как вы обтяпываете дела в магазине. Я не милиция, мне все едино, десять тысяч ты загреб или миллион. Это твоя забота. Ясно? А теперь, если будешь пыжиться и корчить из себя аристократа, я буду бить тебя в ухо через каждые двадцать секунд...

— Вы с ума сошли, — проямлил Виктор Петрович.

— Это точно, с вами спятишь, — согласился Децкий. — Ну, начнем. Суббота, солнце взошло, ты проснулся...

Но вместо ответа Виктор Петрович вскинулся в кресле и полетел ногами вперед, целя противнику в живот. Чего-нибудь в этом роде Децкий ожидал и отшатнулся, и Виктор Петрович грохнулся копчиком о пол. Децкий в придачу наказал его ударом ботинка по ребрам. Разговор немедленно пошел как по маслу, то есть Виктор Петрович основательно отвечал на поставленные вопросы, однако ничего толкового в пользу своей невиновности назвать не смог. Никто из знакомых или соседей ему в то утро не встретился, а если и встречались, то он не запомнил и никуда вечером три дня назад не ходил, провел его дома, у телевизора, и в одиннадцать пошли с женой спать. Все это может подтвердить и жена, Децкий сам может позвонить ей, хоть бы и сейчас. Децкий в ответ грубо расхохотался. Тогда Виктор Петрович воззвал к его логике; что же он идиот

лезть в чужую квартиру, идти в сберкасса, подделывать ордер, каждую минуту рисковать своей жизнью? Это нелепо и глупо думать, что он способен на такое явное безумие. Пусть Децкий убьет его здесь, изрежет на куски, но больше ему сказать и добавить нечего. Думая на него, Децкий глубоко заблуждается и зря пускает в ход кулаки. А главное, он, Виктор Петрович, и понятия не имел, что Децкий способен держать напоказ такую сумму, он даже заподозрить не мог, что умный человек проявит такую неосмотрительность и наивность...

— А то, что старушка умрет, ты не мог заподозрить? — взял его за грудь Децкий.

— Какая старушка? — вскричал Виктор Петрович.

— Маленькая седая старушка восьмидесяти лет.

— Впервые слышу, — чуть не плача говорил заведомо. — Никого не знаю.

Никогда не видел.

Все эти отрицания сами по себе ни в чем не убедили Децкого, но ему пришло на ум размышление, исключавшее заведующего отделом из числа возможных похитителей, по крайней мере, крепко уменьшавшее подозрения на его счет. Размышление это было таково: кража случилась вскоре после того, как начала действовать интрига Децкого против Петра Петровича и Данилы Григорьевича, и заведующему отделом как претенденту на директорское место едва ли стоило идти на риск прямого воровства. А вот Петька или Данила могли принять контрмеры, ответить на выпад решительным ударом. Если они догадались — кто роет, то месть с их стороны была понятной и естественной.

Задумавшись об этом, Децкий утратил бдительность, и тут же Виктор Петрович подскочил и радостно ударил его в нос. Достаточно крепко. У Децкого из правой ноздри пошла кровь, и губа рассеклась о зубы. Виктор Петрович убежал же в соседнюю комнату, затворился на ключ, и стало слышно, как он торопливо баррикадирует дверь. Мечтая задушить подлеца, Децкий бросился выбивать дверь, но текла из носа кровь, он одумался и пошел в ванную останавливать холодными компрессами кровотечение. Кровь попала на галстук и рубашку; рубашку пришлось снять и застирать и мокрую надеть, что было очень неприятно. Галстук же Децкий кинул в помойное ведро. Походив по гостиной, попинав ногой закрытую дверь, Децкий понял, что свое заточение Виктор Петрович добровольно не оставит ни за что, и решил уйти — набить ему морду, подумал он, успеется всегда.

И вслед новая неудача — следователь Сенькевич, а только он вышел, как пришлось слушать злобную, враждебную тираду коллекционера.

— Знаете, Децкий, — сказал тот, — раньше я думал, что вы — нормальный человек. Сейчас я уверен, что вы — дебил, микроцефал...

Значение последнего слова Децкому было неизвестно, но он почувствовал, что оно весьма гнусное, не менее оскорбительное, чем значение слова «дебил», и решил при следующем подобном словце врезать Олегу Михайловичу в челюсть. Но, к сожалению Децкого, коллекционер хорошо знал край.

— Почему я должен страдать за вашу глупость? — продолжал коллекционер. — У вас украли деньги, я понимаю, неприятно, вы же, как старая девственница, несетесь в уголовный розыск — ой, честь отняли, верните, накажите! Называете кучу имен, которые не должны были назвать даже на электростуле, и в том числе — мое. Но при чем мое? Простите, что у нас общего? Я за сорок лет в милицию ногой не ступал, мне милиционеры только на улице встречались, я и тех сторонюсь. А тут следователь вламывается прямо в квартиру, задает тысячу вопросов — где служу, сколько зарабатываю, по чем мечи продаю. На кой черт мне это надо! И мало что инспектор явился, и вас следом бес приволок. Зачем? На кой ляд? Что я вам, друг, брат, сват? Если вам хочется быть объектом милицейского изучения — дело ваше, но у меня такой охоты нет...

Трепись, трепись, думал Децкий, наболтайся, сейчас иначе поговорим. Выковыривая из носа запекшуюся кровь, он углядел, что коллекция по сравнению с прежним ее состоянием заметно уменьшилась: исчезли со стены индийские кинжалы, исчезли парадные шпаги, не стало польских сабель и гусарских крыльев, место скрещенных мечей заняла пятерка игольчатых штыков, старинную аркебузу сменил обычный, отмытый от ржавчины топор, — словом, едва ли не треть коллекции в квартире отсутствовала. Эге, да ты, брат, ловчишь, подумал Децкий, ты следователя поджидал; наверное, Катька позвонила приготовиться. А тут умника корчишь.

— Ну, что, что вас сюда привело? — спросил Олег Михайлович.

Децкий объяснил.

— Значит, вы меня подозреваете? — ухмыльнулся коллекционер. Подозревайте, Юрий Иванович, подозревайте. Можете и следователю сказать. Я не обижусь. Скажите ему: я уверен — это Олег Михайлович мои деньги украл. Да знаете ли вы, Децкий, что такое двенадцать тысяч?

— Не сомневайтесь, знаю вполне.

— Мечта дурака-работяги — вот что такое двенадцать тысяч...

— Однако на улице они не валяются, — сказал Децкий.

— На улице ничто не валяется, кроме пьяных, — ответил коллекционер. Что же я, по-вашему, уличный воришка, грабитель из подворотни? Я, — тут последовала многозначительная пауза, — я — честный человек, у меня голова на плечах, не котелок с кашей, как у некоторых. Прошлой зимой в автомагазине я нашел на полу кошелек — в

нем было восемь тысяч рублей. Мне пришлось потратить два часа, чтобы найти убитого горем владельца. Он был так признателен, что целый месяц носил сюда коньяк и написал в газету «Труд». Впрочем, думайте обо мне что угодно — мне все равно.

— Зато мне не все равно, — возразил Децкий. — Вы про свой подвиг честности пионерам расскажите; может, рядом толпа свидетелей была... Мне это неинтересно.

— А мне с вами неинтересно, — сказал коллекционер. — Но чтобы этот вопрос закрыть навсегда, скажу: весь вечер пятницы, и субботу, и воскресенье я был с Катей. Она может подтвердить. Если вы и ей не доверяете — проверяйте. Или она тоже подозревается в воровстве?

— Она нет, — сказал Децкий, — она не подозревается.

— Тем лучше, — закончил Олег Михайлович, — значит, и говорить не о чем.

— Еще одно маленькое дельце, — остановил его Децкий. — В ту самую субботу, когда меня обчистили, в нашем подъезде умерла одна старушка, моя соседка по этажу.

— Так что с того? — нетерпеливо махнул коллекционер. — Ну, умерла. Так мне что...

Негромкий звонок телефона прервал его ответ. Олег Михайлович снял трубку, сказал: «Алло», потом сказал: "Нет, у меня гости", потом — "Один знакомый", потом — "Интересно. Я весь — внимание!", потом долго слушал и на глазах у Децкого мрачнел. Наконец он сказал: "Хорошо, я позвоню вам позже".

— У вас все, Децкий? — спросил он, думая о своем.

— Нет, хочу закончить про старушку...

— А что тут кончать? Она же умерла.

— Она умерла от того, что ее ударил вор. Это случилось в десять часов.

— Что же, поздравляю. Теперь милиция от вас не отлипнет никогда...

— Милиция не знает, — сказал Децкий.

— Почему же вы не скажете, — усмехнулся коллекционер. — А-а, понимаю. Вы думаете, что я виновник смерти. Ну да, если я вор, то и убийца. А если я скажу об этом следователю?

— Дело хозяйское! — ответил Децкий.

Коллекционер поглядел на него, как на ребенка, и сожалеюще покачал головой.

— Юрий Иванович, — сказал он, — послушайся мудрого совета. Ты ведь не ангел; насколько я понимаю, тебе срок грозит, тюрьма, а ты — следствие, всякую чепуху, сам себя выдаешь. Но бог с тобой, как хочешь. Но меня оставь, мне моя жизнь не надоела.

— Какой срок! Какая тюрьма! — взвился Децкий.

— Обыкновенная тюрьма, — ответил Олег Михайлович. — Что ж, я не понимаю, как деньги делаются...

Децкий покидал квартиру коллекционера, как побитая собака. Было ясно: его чурались. Может, и сговорились чураться. Сейчас он им всем как кость в горле. Сейчас каждый готов из шкуры выпрыгнуть, убеждая: я — самый честный. Тот же коллекционер. Он восемь тысяч вернул. Как бы не так. Восемь тысяч копеек, это еще можно поверить, да и то с трудом. Все Катька, сука болтливая, разносит, все сплетни, ворона, передает. Тюрьма, срок, деньги откуда ему знать. Децкий решил зайти к Катьке, но тут же раздумал: придешь, а там следователь ожидает, покуривает. Нет уж, товарищ Сенькевич, хватит встреч, сыты по горло, добром от них не пахнет, здесь Олег прав. Слава богу, что у Витьки не появился, вот была бы настоящая немая сцена: один с рожей скособоченной, другой с мокрой тряпкой на морде и кровь на полу. В чем, граждане, дело? Да так, я поскользнулся на ковре, он со стула упал. С Катькой вечером поговорим, а раньше — с Данилой и Петькой. Тоже будут врать прямо в глаза: да ты что? за кого принимаешь? что мы — карманники! Экая трудность — искренне возмутиться. Да он сам, если бы Петька пришел упрекать за интриги, сожрал бы его от негодования, такого бы напел и так отругал, что тот бы еще и прощения попросил, и за мировой бутылкой сбегал. Вот именно, что Петькина работа, подумал Децкий. Вдруг один начальник намекает, второй явно говорит — будем повышать вас, товарищ Смирнов, заслужили самоотверженным трудом. У него глаза на лоб лезут: сидел — мышшь тише не сидит, голоса не подавал — от немого больше звуков исходит, и, пожалуйста, нате, вытаскивают из норы, прибавляют оклад, пятьдесят рублей в месяц, или шестьсот в год, и полная гарантия честной жизни — что ж там в отделе ущипнешь — лишнюю командировку, клей канцелярский, скрепку, химический карандаш? Петенька туда, сюда: какой гад рекламирует, кому нейдется? Децкий! И у Данилы такие же основания, хоть и думает на эту подлую гниду. Но могли Катьке проговориться о всех своих неудачах, а у Катюши в башке ЭВМ: включила, пощелкало — трим-брым — и разъяснила. Но все это были сорок раз думанные мысли, кольцо, круг: все в равной мере способны украсть и ни для кого не найти улики. Децкий так и подумал: "Брожу по кругу!"

Он поехал на завод. Лавируя в потоке машин, он думал, что его следствие застопорилось, а следователь меж тем идет вперед. Сегодня знакомится с компанией, через день-два соберет всех в сберкассу на опознание, не опознают — он придумает какую-нибудь экспертизу, а еще, по своей ловкости, заподозрит странность Пашиной смерти, а еще заинтересуется гибелью старушки — тогда покрепче возьмутся, и истина, как они пишут, восторжествует, а зло получит должное воздаяние. Убийцу расстреляют, а

им всем по десять лет без надежды на амнистию, ибо расхитителям социалистической собственности прощения не бывает. И вот выйдет он из ворот в день пятидесятилетия, Сашке стукнет двадцать два года, Ванда будет замужем за другим, и останется ему одно — грузить стеклотару да травиться «чернилами». Ну нет, нет, думал Децкий, что угодно, но не в тюрьму.

Уладив срочные дела, он позвонил на работу Катьке. Там ответили, что заведующей нет, болеет. Децкий перезвонил ей домой: "Болеешь?" — "Почки, мой друг!" — "Хочу тебя увидеть". — "Так приезжай хоть сейчас". — "Сейчас не могу. Позже. Никуда не уйдешь?" — "Куда мне идти — почки. Жить не хочется, не то что ходить". Затем Децкий позвонил в «Хозтовары» и, услышав деловой голос Данилы Григорьевича, таинственно сообщил: "Надо встретиться. Жди меня дома в шесть". Затем он сходил на склад, но Петр Петрович отпускал продукцию, вокруг него толпились и сновали грузчики, шоферы, экспедиторы. Децкий отметил, что завскладом насмешливо посматривает на его нос. Растрепался Витенька, герой сопливый, понял Децкий и понял, что уж если известно Петру Петровичу, то тем более известно Даниле и Катьке. Приходить к ним с прежними вопросами стало бессмысленно. "Забегу к тебе. Жди!" бросил ему Петр Петрович.

Ожидая завскладом, Децкий просидел в кабинете до половины шестого, но Петька не появлялся. Разозленный Децкий отправился на склад, тут ему сказали, что заведующий смотал свои монатки еще в четыре часа. Децкого этот мелкий обман привел в бешенство. "Ладно, сволочь, — шептал он, — все равно найду. Не сейчас, так вечером, не вечером, так утром. На Луну не улетишь, встретимся!"

Он поспешил на стоянку. Был час разъезда, по улице сплошным обозом шли машины. Децкий долго стоял на выезде, ожидая какого-нибудь разрыва в потоке. В два ряда перед ним ползли машины: то останавливались, то вдруг срывались, влекомые зеленым пятном далекого светофора. Одни водители тормозили плавно и плавно трогались, у других и при торможении и при трогании машину дергало, переднего пассажира то отбрасывало к спинке кресла, то угрожающе кидало вперед. Вот точно так, вспомнилось Децкому, водил свой «Москвич» Паша: отчаянно тормозил, срывал машину с места прыжком. И вспомнился следом стремительный, ровный отъезд Павла от гаража, тот последний его отъезд в одиннадцать часов. Но уже нет, никак не Павел, открылось Децкому; за рулем сидел опытный, умелый водитель, с тренированным зрением, с точным чувством педали, с развитой шоферской реакцией, аккуратный и грамотный. Децкий даже ахнул от удачи неожиданного прозрения: каждый водит машину по-своему, непохоже на других; водительская индивидуальность особенно заметна при переключении скоростей,

торможении, трогании; стоит внимательно посмотреть, чья машина ходит так, как выезжал тогда Павлов "Москвич", — и убийца на мушке.

Децкий помчал к «Хозтоварам». Оставив машину за квартал, Децкий тылами вышел во двор магазина. «Иж» Данилы Григорьевича стоял на обычном своем месте у котельной трубы. Ждать пришлось недолго. Вместе с Данилой из служебного входа вышел Виктор Петрович; полморды последнего закрывали большие солнцезащитные очки, Децкий, угадав причину, получил удовольствие. Два торговца поспешно двигались к машине. Децкому было видно, как Данила Григорьевич открывал ключом левую дверку, затем он сел за руль, потянулся и поднял кнопку затвора на правой, и в машину влез Виктор Петрович. Стало слышно, как зафыркал мотор. Децкий, весь обратившись во внимание, замер, но, к его досаде, машина поползла задним ходом, а разворот ее и выезд на улицу скрыли мусорные баки. Тогда Децкий ринулся к своим «Жигулям» и на пределе допустимой скорости помчал к дому Данилы. Загнав машину во двор, Децкий вышел на поворот, где неминуемо должен был пройти «Иж». Он показался через пятнадцать минут. Децкий зафиксировал плавный сброс газа, мягкий поворот, и вдруг машина резко остановилась — это Данила Григорьевич увидел его. Открылась правая дверка, и послышался окрик: "Садись!"

Децкий махнул рукой: мол, езжай, пешком дотопаю.

Он глядел, как Данила Григорьевич пошевелил ногами, тронул рычаг скоростей, и «Иж» ровно пополз на дворовую стоянку. Но этих коротких наблюдений для сравнения и выводов было недостаточно, и Децкий решил последить за директором утром, когда тот будет выезжать. И Петеньку — крысу складскую — надо подсмотреть за рулем, наметил Децкий, и Олега Михайловича.

— Драться будешь? — спросил, подходя, Данила Григорьевич.

— Что, уже нажаловалась эта скотина, Виктор Петрович.

— Уж сразу и скотина. Ты ему фингал посадил.

— Он мне, дрянь облезлая, нос разбил, кровь шла, галстук испортил, сказал Децкий. — И то не жалуюсь.

— Свежо предание, — не поверил Данила Григорьевич. — Ну ладно, пойдем в дом.

Семейство — жена и двое сыновей — сидело у телевизора. Жена, увидев гостя, встрепенулась бежать в кухню, но Данила Григорьевич свеликодушничал: "Отдыхай, Маша, сами управимся".

Прошли на кухню.

— Выпьем? — спросил Данила.

Децкий отказался:

— Куда пить-то. На машине.

— Может, кофейку? — предложил хозяин.

Пока мололся кофе и кипятилась в джезве вода, молчали. Потом Данила сказал:

— Виктор Петрович — темный, конечно, малый, но иногда не врет. Ты за что его?

— Наглый он, а не темный, — отозвался Децкий. — За это.

— Слушай, — уставляясь Децкому в глаза, спросил хозяин, — ты и меня подозреваешь?

— Данила, дорогой, — сказал Децкий, — не хочется врать. Понятное дело, подозреваю.

— Ну и как ты, если не секрет, думаешь найти вора?

— А зачем мне вор? Он мне не нужен. Я свои деньги хочу вернуть. Пусть пришлет переводом.

— Положим, прислал? А дальше что? Придешь в милицию и объявишь: получил переводом или бандеролью десять тысяч.

— Четырнадцать тысяч, — поправил Децкий.

— Четырнадцать тысяч, — продолжал Данила Григорьевич, — так что, дело можно закрыть, будьте здоровы, напишите на нем «нераскрытое».

— Это милиции забота: закрывать или дознаваться, — ответил Децкий. Меня не волнует, она доказательств не соберет.

— Ты-то откуда знаешь?

— Потому что обдумывал.

— Выходит, кого-то предполагаешь?

Децкому хотелось выпалить: "Тебя!", но он ответил:

— Не так, Данила, все это просто. Конкретно я никого не подозреваю, но подозреваю, что к воровству уже прицепились два убийства: моя соседка и Паша. Или ты думаешь, Паша сам в час ночи поехал смерть искать на Веселовском шоссе.

— Пьяный был, — задумчиво ответил хозяин.

— Он и пьяный и трезвый куражиться на машине не любил.

— Так кого ты ищешь — вора или убийц? — спросил Данила.

— Это — одно лицо.

— Ищи, если нейдет. Только ж совесть надо иметь. Сегодня твой следователь в магазин приходил. Сначала меня, потом Витьку допытывал твоими же вопросами.

— С большого грома всегда малый дождь, — сказал Децкий. — Следователь пришел. Ну и что? Пришел и ушел. Тебе-то чего бояться, ты ж не убивал.

— Сам знаешь чего. Он за тобою словно тень ходит: куда ты, туда он.

— Интересно, что бы ты делал на моем месте?

— Затих. Работал бы. У меня двое детей, их вырастить надо.

— Но кто-то же взял, и свой взял.

— Если ты полагаешь, что я тебе сочувствую, — сказал хозяин, — то это не так. Сам виноват. Стахановец нашелся. Ты с точки зрения закона — вор. И я — вор, и Петя, и Катя, и покойный Паша — все мы преступники. А ты сберкнижку завел. Идиот ты и задница. — Данила громко и матерно выругался. — Сам горишь, так хоть других в огонь не тяни...

Децкий слушал и колебался: то казалось — точно Данила, то казалось не он.

— Это само собой разумеется, — перебил Децкий, — а если по существу. Тебе ж Витька говорил, чем интересуюсь. Что, сказать нечего?

— Это я судьям скажу, — улыбаясь, ответил Данила Григорьевич. — Вот когда ты всех на скамью посадишь, я отвечу.

— Как знаешь! — поднялся Децкий.

— Шучу, шучу, садись, — примирительно сказал хозяин. — Там на вокзале, у входа в тоннель, киоск есть, пенсионерша в нем работает, знакомая. Я у нее перед поездом газеты брал. Спроси. Марфа Кирилловна зовут... А по правде говоря, Юра, есть одна просьба: пока тянется это дело, не трогал бы ты никого, по крайней мере, меня. Мне и без милиции хватает проверок...

— Ладно, — грубовато сказал Децкий. — Договорились.

Он вышел во двор в тоске и злости. День прошел, успехов же никаких, одни неприятности: Витька, гнида, кровь пустил, Катькин ублюдок посмеялся, Данила вежливо выгнал вон, а Петька надул. И все убеждают: заткнись, молчи, не касайся. "Дудки вам, — зло говорил Децкий, садясь в машину. — Дудки, милые. Скиньтесь по три тысячи — тогда. Это первое. А второе — кто за Пашу ответит?"

Доехав до автомата, Децкий позвонил Петру Петровичу. Телефон ответил молчанием. Поеду, к Катьке, решил Децкий.

Сенькевичу же этот напряженный день принес несколько успехов. Наконец-то ощутились загадочные, но, безусловно, существующие связи в кругу людей, близких Децкому, какой-то таинственный шел между ними процесс. Особенно впечатлило странное появление Децкого в квартире коллекционера и недолгая их беседа, которая явно Децкого расстроила. От подъезда к машине он прошагал вяло, буквально проплелся, потом в унынии сидел за рулем, словно раздумывая, что делать. Наконец он тронулся, Сенькевича заинтересовало — куда? Оказалось — на завод. Это было понятно, но какая

же нужда, думал Сенькевич, привела его в рабочее время к коллекционеру? Что общего между ними? Что Децкий выяснял? Или объяснялся?

Проследив, как Децкий вошел в проходную, Сенькевич поехал в магазин хозяйственных товаров. И директор, и заведующий секцией были на работе. Сенькевича удивило, что отглаженный аккуратненький Виктор Петрович имел совершенно непристойный свежий синяк вокруг правого глаза. Солнцезащитные очки лишь подчеркивали внушительные размеры этого телесного повреждения. Сенькевич уже в разговоре не удержался спросить:

— Хулиганы?

— Развелось сволочи, — зло пробурчал завсекцией. — Никто не сажает!

— Надо в милицию заявить, — посоветовал Сенькевич.

Завсекцией почему-то посмотрел на директора и сказал, тоскливо вздыхая:

— Знаем мы эти заявления.

Крепко ему врезали, видел Сенькевич, и наверняка было больно, и одним только глазом смотрел на свет, но предпочитал человек молчать, решил стерпеть, закрыться очками и пережить. Почему? Не верил, что найдут и накажут? Или самолюбие не пускало сказать: "Меня побили". Но это было его дело, Сенькевич переубеждать не стал. Рассматривал обоих, слушал.

Оба отвечали обстоятельно, но ничего нового не сказали: ехали врозь, встретились в Игнатово, ночевали на даче. Говорили правдиво, но что-то недоговаривали; Сенькевич чувствовал в собеседниках какую-то напряженность; она возросла, когда спросил о Павле; упала, когда поинтересовался их знакомством с коллекционером; опять возросла, когда спросил директора о бывшей завсекцией Екатерине Мелешко. Вслух звучала правда, сообщались положительные элементы, и эта правда представлялась Сенькевичу неполновесной, канцелярской, имевшей основу в бумажках личного дела приказах, служебных характеристиках, трудовой книжке. И директор и его подчиненный отвечали быстро, но с каким-то мгновенным, едва приметным запаздыванием, словно ответы проходили в уме цензуру, и что-то выбрасывалось, и пропуски тут же заполнялись каким-то неважным наполнителем. И у обоих Сенькевич чувствовал сгустки страха, у директора он был меньше, у завсекцией больше, и эти сгусточки пульсировали в такт ответам. Но чего им было бояться? Что настораживало этих людей? Наобум Сенькевич спросил, есть ли у них машины. Оба односложно подтвердили, что есть. Тогда он спросил, есть ли у них дачи. Оказались и дачи. Но эти вопросы и ответы на них, видел Сенькевич, доставили обоим сотрудникам сильное переживание, словно он коснулся предмета неприятного или интимного. Все это было странно, имело не понятную Сенькевичу причину. Он решил

увидеть их в домашнем быту, раздельно друг от друга, в привычной обстановке. "Мой дом — моя крепость". Как они будут держаться в своей крепости? Как эти крепости выглядят?

Окончив встречу, Сенькевич вышел в торговый зал. Личный интерес повлек его в секцию электротоваров, захотелось, благо был удобный случай, посмотреть настольные лампы. Проходя мимо секции номер два — "хозяйственные товары", которой заведовал Виктор Петрович, Сенькевич обратил внимание на яркую картонную коробку с довольно смешной надписью — "Замок повышенной секретности". Секретность эта, как он сразу убедился, крылась в двойном наборе бороздок. Он заинтересовался, кто же рекламирует так безобидное свое изделие — и застыл: хитрые эти замочки выпускал инструментальный завод, тот самый завод, где работали Децкий, и покойный Пташук, и завскладом Смирнов. В первую секунду его и удивило именно это: что тут, в секции, которой заведует человек, подозреваемый Децким, продается товар, который производится заводом, и более того, участком ширпотреба, подчиненном Децкому. Но вслед первому удивлению пришло другое, выстроились не понятная еще, но твердая цепь: завсекцией — директор — Смирнов — Пташук — Децкий — и соединилась с другой связкой людей: Децкий — Мелешко — коллекционер.

Приметив краем глаза входящего в зал Виктора Петровича, Сенькевич тотчас ушел в секцию электротоваров. Постояв здесь несколько минут у ряда торшеров, поглядев на них невидящими глазами, он покинул магазин и сел в машину.

— Поехали, Валера, — сказал он.

— Куда?

— Покатаемся, — ответил Сенькевич. — На кольцо.

Они мчались по кольцевой дороге, то примыкавшей к новостройкам, то разрезавшей лес, то возносившейся на дамбе над заливными лугами. В открытые окна бил насквозь ветер. В лад скорости неслись и мысли Сенькевича, задерживаясь, как и машина, перед знаком «Stop» и обгоняя одна другую, когда Валера стремился почувствовать предел мотора. Люди, о которых думалось сейчас Сенькевичу, подобно этой, обнявшей город, дороге, замыкались в кольцо, только коллекционер стоял одиночно, соединенный с прочими через Мелешко, через женщину — не через дело. Екатерина Трофимовна тоже не имела постоянных связей: когда появлялась она, уходил в сторону Виктор Петрович, приходил он — отодвигалась она. Сенькевич гадал, с кем лучше ее соединить: с директором или Децким? Все остальные стояли в этом кольце прочно. Потом Сенькевич исключил Пташука, и образовалась брешь: Децкого и завскладом разделило пустотой. Вообще, Децкий обособился; это соответствовало реальности — он вел следствие против знакомых, он им не верил или не доверял, кого-то из них он считал способным на

воровство. Все эти люди были повязаны и экономическими отношениями: производство — сбыт, и здесь, конечно, могла иметь место повышенная секретность: левые замочки средство приработка. Если так, то дело выезжало на широкую колею; Сенькевичу почуялся запах особо крупного хищения. Но если хищение, если производитель — цех Децкого, думал Сенькевич, то почему он пришел в органы? Зачем было воровство? Зачем частное следствие? Пташук погиб, почему ж этих, магазинных, пугает его имя?

Толковые объяснения не возникали; требовались знания, а знал он мало, почти ничего, самые верхи, то, что собеседники допустили выставить или не могли скрыть. Наяву были дачи, машины, гаражи, дорогостоящая обстановка, сказания о давних приятельских связях, совместные пиры, благообразные маски, скоординированные ответы, была, наконец, кража двенадцати тысяч и облигаций у Децкого, кража изощренная, четкая, продуманная, без следов и улик. Об остальном — о действительных отношениях, о действительных денежных состояниях, об источниках дохода, о воле, натуре, желаниях каждого оставалось гадать.

Вернувшись в отдел, Сенькевич тут же пошел консультироваться к начальнику ОБХСС. Два человека слушали его подробный рассказ, и слушали с возрастающим любопытством, помечая что-то на календарях. Но высказались они осторожно: версия его, Сенькевича, очень правдоподобная, такое дело могло иметь место в натуре, и, конечно, было бы интересно присмотреться и к заводу, и к магазину, однако тут есть несколько каверз. Поскольку возможным участникам преступной группы известно, что ведется следствие по хищению и они являются подозреваемыми, то, безусловно, все, что могло бы стать поличным, уже исчезло; расследование придется вести документально: посмотреть номенклатуру заводской продукции и номенклатуру товаров, поступавших в магазин, по каждому артикулу поднять документы, а их может и не быть; если магазин имеет лоточную торговлю с выручкой, не фиксируемой кассовыми аппаратами, картина вообще будет искажена и приведена в соответствие с банковской документацией. Неточное оформление документов можно трактовать как злоумышление, но кто поручится, что это не халатность. Словом, возникают сотни сложнейших вопросов, нужна тщательная ревизия и экспертиза... В ОБХСС, сказали Сенькевичу шутливо, работа сложная, это у вас просто: отпечатки пальцев, кровь на полу, свидетели, а у нас ничего бумажки, тысячи накладных — разбирайся, в какой из них ложь. Но спасибо за сигнал, примем к сведению и займемся. Что же касается механики дела, то она, в принципе, элементарна: если в заводской бухгалтерии зафиксированы крупные недостатки или крупные списания, то, скорее всего, имели место хищения продукции с последующим ее сбытом через торговую сеть; если списаний нет, а номенклатура сходится, то допустимо думать, что существует

побочное, отлаженное производство, замаскированное сложной технологией. Как? что? где? сколько? — на это даст ответ только конкретное расследование. Вот, к примеру, два года назад отдел раскрыл аналогичное хищение на механическом заводе. Но там было без затей, попросту нагло крали, используя слабый учет, поверхностный контроль; четверо человек вынесли болтов и гвоздей на тридцать тысяч, реализация — через базарный хозкиоск. Но там были улики, было взятие с поличным, признание. А тут если что и налажено, так уже с левым товаром не попадутся; уже изъяли и вывезли на свалку или в болотце какое-нибудь, через двадцать лет найдется, — им-то что, не жалко, не свое — народное. И человек некстати погиб, мастер с ширпотреба. Ширпотреб — место располагающее, а тайный канал утечки замаскирован, например, общими показателями. Но это так, схемка, десятое приближение, а как есть на самом деле, в кабинете не догадаешься, надо собственными глазами посмотреть, руками потрогать... Ведь вот какой-нибудь гвоздик, пять штук его — копейку стоит, мелочь, кажется, не стоит хлопот, а гвоздиков этих расходятся миллионы, каждая семья покупает — то надо прибить, там вколотить... Кто-то сжульничал, списал сто килограммов металла на брак, другой недопроверил, а металл в виде гвоздиков незаконно ушел в лавочку и продан. Доход без оприходования. Яснее ясного, а доказать такое хищение, если за руку не схватил, дьявольски трудно...

Но методика следствия ОБХСС мало занимала Сенькевича; своих хватало забот; ОБХСС хоть документацией располагает, а у него вообще ничего нет догадки и чувствования. Однако пользу эта консультация принесла: Сенькевич уверился, что дело о хищении денег с вклада Децкого затрагивает группу людей и что эту группу трясет сейчас страх. Иного повода для настороженности торговцев при вопросах о Пташук Сенькевичу не вообразалось.

В четыре часа вернулся Корбов и дал отчет. Личные дела директора и завсекцией существенных сведений не содержат; интересное, тем не менее, имеется; интересно, в частности, что на директора уже длительный срок поступают анонимки. В чем обвиняется? Обвиняется "группой продавцов" в любовной связи с кассиршей с использованием служебного положения. Были проверки, косвенно подтверждается, и стул под директором уже накренился. Теперь о старушке. Жила на одной площадке с Децким. Упала в первые минуты одиннадцатого. Удар затылком вызвал кровоизлияние в мозг, приведшее к летальному исходу. Обнаружена на площадке сыном примерно в четверть одиннадцатого. "Скорая помощь" прибыла через семь минут. Перед падением старушка находилась во дворе на прогулке. В десять часов сын видел ее в окно. Самый медленный подъем на четвертый этаж занимает минут десять, говорил Корбов, он сам проверял. Как

раз в это время преступник покидал квартиру, и была встреча или не было, сейчас не узнать. Никто из родных и врач тоже не удивились, что упала; дни старушки уже были сочтены — возраст, два инсульта, давление, поэтому падение восприняли естественно, ну, разумеется, жалели. Вскрытие не производилось.

Теперь сиди и гадай, думал Сенькевич, что случилось на площадке в начале одиннадцатого. Смерти законы не писаны, она не спрашивает, где, и когда, и каким образом человеку хочется и удобно. Старушка со ступеньки на ступеньку перемещалась, а как ступила на свой этаж, тут время ее и вышло. Но мог и преступник помочь. Особенно если он знакомый дома. Незнакомому, чужому, случайному брать лишний грех на душу смысла нет — старуха древняя, едва ли запомнит, а запомнит — что с того, никому не расскажет. А знакомому страшно. Он на дачу спешит; считается, что в это время он в электричке едет. Вдруг шум, скандал, опознание — она и укажет древним своим пальцем: "Этот! Он!" Могло быть, могло не быть — спросить не у кого, решай, как интуиция говорит. Решишь: не было — и все тихо, и беспокойства нет, и преступник вроде бы не последняя сволочь, даже с чувством веселья — ведь книжечку назад положил. Решишь: было — и все наоборот: уже не вор — а убийца, уже не по-умному ловок, а по-звериному жесток.

Подумав, Сенькевич и Корбов заключили, что для однозначного решения у них нет материала: принять предопределенность падения возрастом мешает время падения; назвать смерть старушки следствием какого-нибудь насилия не дает абсолютное отсутствие улик. Но запала, запала в душу эта раздвоенность, мучение: сама жизнь угасла или отнята?

Перед концом работы Сенькевич поехал к вдове Пташука. Здесь оказалась Ванда Децкая, и кстати — ее присутствие действовало на вдову успокоительно. Утрата мужа еще не осозналась; вдова хоть и говорила о нем в прошедшем времени, но с таким чувством, будто случился сон, будто охвачены и она, и все наваждением, и скоро оно пройдет, и она проснется, и муж приедет домой, как возвращался прежде из командировок. В малосвязных ее ответах Павел рисовался так: он очень любил сына, очень любил ее, много работал для семьи, был мягким, как добрый ребенок; работа ему не нравилась, он хотел уйти с этой работы, часто мечтал о другой работе; к проклятой машине был равнодушен, часто приговаривал: "Продадим, мать, а?" — и следовало продать, но как-то не решались, медлили, тянули, ведь все ездят, все стремятся за руль; он чувствовал себя неудачником, счастливым чувствовал себя в отпуске, они втроем уезжали на юг, к морю, там он капли в рот не брал, не пил ничего, даже пива никогда не покупал; возвращались, он шел на завод — и опять уныние, вздохи, мелкие, но частые выпивки.

Она и хотела поехать на дачу к Ванде, когда все собирались на купалье, но поссорились, пустая, ненужная ссора, можно было и стерпеть, и быть умнее, и избежать ссоры, сделать вид, что не обижаются, но обиделась, что пришел вечером подвыпившим, что-то ему сказала колкое, он сказал: "Ничего ты не понимаешь", слово за слово, все глупо, резко, непонятно зачем, и она уехала к себе на дачу, взяла сына, и вечерним автобусом уехали. Потом, конечно, помирились: когда мирились, наступали счастливые дни, он старался все делать, угождать... Потом пошла в отпуск, засела на даче, заготовка, ягоды, варенье, и зачем они, зачем; домой ездила редко, а он сюда ездил редко, на машине не любил, только на выходные машиной. И вдруг приезжает Юра — Паши нет, катастрофа, погиб. Только строили планы на август ехать к морю, счастливый месяц, и вот сел за руль — и исчез. Всегда ведь, если приходилось выпивать, близко не подходил к машине, один раз осмелился — и такая расплата.

Весь этот печальный рассказ был очищен от прижизненных обид; ссоры, семейные сцены всплывали в памяти десятым отголоском; уже и плохое казалось терпимым, и хорошее — прекрасным, образ мужа получал идеальное обрамление; жалость, и страдание, и сострадание поднимали его ввысь. Налагая на эту информацию мерки своей версии, Сенькевич вводил поправочный коэффициент; тем не менее личность Пташука представилась ему сильно расколотой: какие-то его дела не были известны семье, что-то он скрывал, чем-то мучился, не посвящая в свои мучения жену, и это лишало его равновесия. Совершались какие-то темные дела, и, как подсказывал рассказ вдовы, совершались они на работе. Едва ли его друг и непосредственный начальник Децкий не мог о них знать или догадываться, а судя по его достатку, и он имел причастие к каким-то окруженным тайной действиям. И вновь возникло недоверие к лихаческой ночной поездке Пташука. Всегда избегал, всегда включался рефлекс обходить машину, срабатывал инстинкт опасения, самосохранения — и вдруг не включился, не сработал, а, наоборот, сработал чуждый порыв, порыв к самоуничтожению. Под влиянием чего? Водки? Количества водки?

И многое другое хотелось узнать Сенькевичу: когда купили дачу, сколько стоила, сколько муж получал, сколько Вера Васильевна получала, приносил ли муж домой крупные суммы, — но мутить чистоту свежего горя, вгонять в бедствующую душу занозы сомнения и нового ужаса он не мог и удовлетворился услышанным.

Достаточно было сделано за день, и можно было с чистым сердцем ехать домой, но что-то не отпускало от дела. Сенькевич решил встретиться с завскладом, позвонил ему, долго ждал ответа, телефон, однако, не отвечал. Тогда Сенькевичу вспомнилось свое дневое желание посмотреть в домашних условиях директора «Хозтоваров».

Въехав во двор, он, уже без удивления, а как нечто должное, заметил на стоянке машину Децкого, и это очередное совпадение маршрутов, вторая за день неожиданная встреча усилили его подозрения. "Что он носится? — подумал Сенькевич. — Что с такою энергией доискивается?" Он сказал Валере дать задний ход, они выбрались на улицу и, отъехав метров сто, остановились. Минут через двадцать показалась машина Децкого; они поехали следом, и скоро Сенькевич удостоверился, что начальник цеха навещает Мелешко. Тут у Сенькевича возник план пронаблюдать все завтрашние поездки Децкого, сложить с уже известными и в этой статистике выявить что-либо важное для следствия.

Катька его ждала. Децкий заметил по глазам, что даже обрадовалась. Прошли в комнату, она легла на грелки и выложила новость: следователь приезжал к жене Пташука, только что позвонила Ванда.

— Ну, и что ж он хотел?

— Сам расспросишь. Ванда бегом рассказывала. Где Вера работает. Почему муж пил, где, с кем и так далее. А Верка: ах, он был самый лучший, работу не любил, но отдавал себя без остатка, она возражала — не надо денег, зачем нам машина, дача и так далее.

Децкий тяжело ссутулился.

— Ты что? — укорила Катька.

— Устал я, — ответил Децкий.

— Уж кто слабый пол — так это вы, мужчины, — сказала Катька. — Штангу поднять, морду набить, брюхо бабе надуть — тут вы герои. А в серьезном деле — слабцы. Это я о тебе говорю. Петька — трус, Павел был отъявленный трус, Данила тоже хороший заяц, и Олежка не из храбрецов, ты если не трус, так дурак...

— Ну спасибо! — сказал Децкий.

— Точно дурак — иронизируешь. Я ведь серьезно говорю. У меня тоже был следователь, утром. И у всех будет. Сам же ты его попросил, а теперь плачешь...

— Как ты думаешь, зачем следователю Павел? — спросил Децкий. — Образ жизни, деньги — пустяки все это. Тут похуже, он убийство подозревает.

Катька опешила.

— Так-то, Катенька, — взял реванш Децкий. — Вот тебе и слабый пол. Кто-то не побоялся.

— А какие основания, доказательства? — спросила Катька.

— Мне откуда знать, не я убивал. Может, есть, может, нет.

Помолчали.

— Да, — сказала Катька. — Возможно. Паша кататься не любил.

— Вот-вот. И не пьянствовал в одиночку.

Опять помолчали.

Потом Катька попросила сменить грелки. Децкий пошел в кухню, поставил на газ воду, смолот кофе, для Катьки подогрел липовый чай, составив чайнички и чашечки на поднос, принес в комнату.

Катька лежала на диване — поблекшая, унылая, ленивая, как все больные. И губы не были намазаны, и волосы были непричесаны, и мятый халат сидел на ней по-старушечьи, и деревенский платок на пояснице и толстил и простил, словом, обычной больной бабой стала Катька, бабой одинокой, никому в своих болезнях не нужной. Децкий прямо так и подумал: "А где ж умник твой? Как в постель — бегом, как грелки носить — ползком". Больной бабе жить плохо, думал Децкий, а больной и одинокой не вдвойне, в сто раз хуже. Броди по квартире, жди, когда соколика принесет. А он для радостей прилетает; ишачить — грелки менять, лекарства давать, обед сготовить — ему ни к чему, это муж должен делать. Был и муж, но схлопотал густые рога и вышел в отставку. Второй сам умер, а третьего дурака вот уже десять лет не находится. Но не Катю было жалеть. Отлежится, почки отпустят, думал Децкий, — и опять на коня. Мужа нет, детей нет, семьи нет... А что в них? Муж обалдуй, сядет перед телевизором, как в тысячах квартир сидит, и корми его, слушайся, встречай... А дети разве кровь и здоровье не пьют? Кто же больше них соки из родителей выжимает?.. Вообще, семья... Богатой женщине одиночество не грозит. Это уборщице какой-нибудь страшно: куда ж без детей и мужа, нельзя, кому же без них нужна. Никому не нужна. Только метле своей и лопате. Катенька жизнь понимает, думал Децкий. Пока весела, пока есть относительное здоровье — надо выбрать свое дотла, ничего сырой земле не оставить, всю энергию промотать, а уж там, как грянет бабья смерть, там взять тихого трудягу-пенсионера, чтобы в магазины ходил и на базар за зеленью ездил, и жить с ним в глубокой верности уже до гробовой доски. Но теперь всем хвосты прижало, думал Децкий. Мы трусы. А сама? По какому поводу почки заныли? Надорвалась в коммиссионке? От любви к Олегу Михайловичу? Страшно — вот и заныли.

— А что у тебя с почками? — спросил Децкий.

— Камушек, Юра.

— Камушек?!

— Да, камушек. Дробить надо идти.

— Говорят, это болезненно.

— Болезненно! — хмыкнула Катька. — Болезненно — это когда ты Витеньку в глаз бил. А камушек — больно. За что ж ты его?

— За то, что очень умный, чистюлька вонючая, вошь в белых перчатках.

— Ну, я таких образов не понимаю.

— Очень точный и правильный образ, — сказал Децкий. — Вхожу, вежливо предлагаю вспомнить, где был и что делал в тот вечер, когда Паша разбился. Так не поверишь — озверел. Во, видишь, — и Децкий приподнял пальцами губу. — И ногами прыгал в живот, как японец.

— И правильно делал. Жаль, что не попал, — сказала Катька. — Тебе не пришло в голову, что с таким же правом можно думать о твоей вине?

— О моей?!

— О твоей, — повторила Катька. — Ванда рассказывала, что ты куда-то ездил поздно вечером.

— Ездил, да, — согласился Децкий. — А как скоро вернулся, Ванда тебе не сказала? Спроси. А когда Паша погиб, знаешь? Он в час ночи погиб. А я вернулся в половине двенадцатого.

— Бог с тобой. Не сомневаюсь. Не хватало только, чтобы ты друзей убивал. Но другие-то тебя меньше знают. Ты всех посещаешь, выпрашиваешь; что им остается думать, может, ты таким макаром следы путаешь. Сам посуди: ну какой резон Витюше или Данилушке убивать Павла, они с ним дела не имели. Более всех он опасен тебе. Сейчас, когда Паши бедного нет, ты практически неуязвим. Это я предположительно говорю, — быстро добавила Катька, заметив, что Децкий начинает звереть. — Так они думают.

— Кто они? — строго спросил Децкий.

— Кто, кто. Все. Петр Петрович, например.

— Вот сволочь, —дохнул злобой Децкий. — Мне Паша опасен? А ему, значит, не опасен. Да они напарники были. Тебе ли объяснять?.. Вот же гад, вот гад! То-то прячется тля складская... Может, это он следы и путает. А ты уши развесила, веришь.

— Возможно, — сказала Катька. — Может, он темнит, может, Павел сам разбился. Лучше не лезть в эти дела.

— Ну конечно, я должен залезть в конуру и хвост поджечь, как меня Данила Григорьевич, Витька, твой аморант и ты учите. А четырнадцать тысяч? А кто Пашу смолотил на камнях? А кто старуху в гроб положил?

— Ну, Юра, ты психопат, — объявила Катька. — Хочется — делаю. Не ведаешь, что творишь. Кто ж тебе признается, что деньги украл. Ты ведь его сразу убьешь.

— Зачем, — сказал Децкий, — не убью.

— Ну, побьешь, ребра сломаешь. У тебя мозги бычьи, подразнили — ты очертя голову и понесся. Учила я тебя, да, жаль, недоучила. Тебе бы жену такую, как я.

— Отбудем срок — поженимся! — пошутил Децкий.

— По лбу себя постучи, дурак, — сказала Катька, — не то черт услышит.

Проболтали еще полчаса, и Децкий отправился домой.

Отъехав три квартала, он побежал в телефонную будку звонить Петьке. Ничего ему сейчас так сильно не хотелось, как услышать Петькин голос, потом встретиться, взять за грудки и ударить о стену, а потом слушать. Но молчал телефон, никто не снимал трубку. Может, нарочно не снимает, подумал Децкий, с него, гадины, станется. И решил поехать к завскладом домой. Поехал.

Ведь какой гад, думал Децкий, гад подколодный, просто гадюка. Экую сплетню придумал. Стало ясно, почему Виктор Петрович бесился и укрылся за дверь, — убийца пришел; он физически боялся, и душевно боялся, и негодовал, что его стараются примазать к убийству. Стало понятно, почему Данила твердил про совесть — мол, ты убил, дело твое, но нас, но меня зачем приплетать? По этой причине коллекционер отгородился. А Петька, змея и крыса, делает вид, что даже увидеть боится. И все они друг дружке передают: у меня был, выпрашивал, ангелом притворялся. Убийце же радость. Он при случае и Сенькевичу доведет: в тот вечер Децкий ездил по городу. Куда в такое время? Зачем? Без свидетелей? Почему сразу не сказали? Какие причины имели для сокрытия? И Ванда — дура болтливая, думал Децкий, в туалет сходишь — уже все знакомые знают, что ходил. На полчаса отлучился — звон. Кормишь, поишь, одеваешь дуру холеную — она же и накаркивает. Хоть возьми и язык ей отрежь. И следовательно, черт шустрый, на пятки наступает. Что его к вдове понесло. Хоть бы совесть имел; не успели вынести человека, как здравствуйте — уголовный розыск. Следит он, что ли? Децкий рефлексивно заглянул в зеркальце — сзади шел мотоцикл, а за ним, насколько видна была улица, машин не следовало никаких. Нет, не следит, решил Децкий. Иначе не столкнулись бы у коллекционера; к тому же у Данилы он побывал, Веру навестил — все по другим маршрутам. Да и какой прок от слежки — с поличным не возьмешь, все адреса ему бюро поставляет. А если делать нечего, следит, так ему и хуже, кто следит, тот не обгонит.

Подкатив к подъезду, где жил завскладом, Децкий поднялся на второй этаж и долго звонил и, прижав ухо к замку, слушал. Тишиной веяло от замочной щели, никто не ходил там на цыпочках, пусто было в квартире. Куда этот гад заполз, думал Децкий. Разве что на дачу свою метнулся, лежит там клубком на диване, посмеивается. Но не ехать же было на

дачу за сорок верст. И домой, весь вечер смотреть на дуру-Ванду, тоже не хотелось. И оставаться одному не хотелось. Децкий сел в машину и поехал к Адаму.

Но зачем было ехать к Адаму? Рассказывать свои беды? Так никому из честных рассказывать свои беды нельзя, а брату меньше всего. Советоваться? О чем? О том советоваться, как суда избежать? Так опять же надо рассказывать, и какой он может дать совет? Что он знает о такой жизни? Слыхал ли он о ней вообще? Просить помощи? Но чем он может помочь? Что в его силах? И какой помощи? Двенадцать тысяч вернуть? Облигации вернуть? Петра Петровича зарезать складным ножом? Ни одного повода не было для этой поездки. Но чем крепче слагались в уме одна к другой веские отговорки, тем сильнее хотелось Децкому увидеть брата. По пути он остановился у «Гастронома» и взял — не с пустыми же руками идти — бутылку марочного коньяка и две плитки «гвардейского» шоколада.

Адам был дома, тархтел на машинке с рукописи.

— У тебя есть время? — спросил брат после объятий.

— Чего, чего, а времени у меня навалом, — сказал Децкий.

— Так подожди полчаса, закончу главку, тут две странички осталось.

Децкий сел на жесткий, продавленный диванчик и закурил. За стеной надрывался телевизор, в кухне ляпала молотком — верно, отбивала мясо Адамова соседка. Старая дрянная машинка стучала, как штамповочный станок. Смешно было бы здесь, в этом гаме и трескотне, сказать: "Хорошо тебе, брат, завидую тебе, а у меня горе!" — смешными, насмешливыми, понимал Децкий, стали бы такие слова, но именно так ему и чувствовалось — он завидовал. И чему, казалось, завидовать — скособоченным, требующим ремонта туфлям (Децкий такие и не ремонтировал, выбрасывал на помойку, а обувался в новые), сберегаемой бутылке «Наполеона», нестроганым доскам, окну без штор, золотой рюмочке (сам же и подарил некогда комплект из шести — где прочие? продал в тяжелые времена?), столу за десять рублей из мебельной комиссионки, пластмассовому абажуру — убогая была обстановка, все — пятый, десятый сорт, но как раз эта скудость и питала сейчас чувство зависти. Другой здесь был достаток, даже избыток — спокойствие. Тут стало Децкому еще и стыдно: давно мог и был должен как брат помочь с квартирой, дать денег на кооператив и не просто сказать, как говорил: "Хочешь, одолжу", а настойчиво, а потребовать: "Бери. Ведь полжизни соседи отнимут телевизором да диким смехом в кухне". А не настаивал, наоборот, посмеивался: "Бросай, Адам, науку. Иди ко мне — слесарем, триста рублей чистыми обещаю". И сейчас вдруг сказать — закрался я, страшно мне, грозит мне лишение свободы и лишение всего. А раньше о чем думал? А Паша всего не лишился? Не подходило к этой комнатке такое

признание. Лопашил, финтил, а чего ради финтил? Чтобы Ванда сегодня в котиковой, завтра — в каракулевой шубе ходила. А одной так уже и мало, недостойно ее, уже ей страдание — хуже других.

— Ну что, нашлись твои деньги? — спросил Адам, отрываясь от работы.

— Где там нашлись. Вовек не найдутся.

— Найдутся, — успокоил брат. — Слишком крупная сумма.

— Дай-то бог!

Адам меж тем опустился на колени и раздобыл из-под дивана складной дорожный столик.

— Собери, — сказал он, — я пойду поесть приготовлю.

Столик собирался легко, Децкий придвинул его к дивану и поставил в центр принесенную бутылку. Надо было решать: пить — не пить. Децкий решил: выпью, а попадусь, отнимут права, и черт с ними — не то грозит.

Минут через десять Адам принес сковородку поджаренных магазинных пельменей и помидоры:

— Вот, больше ничего нет.

— Так и этого много, — сказал Децкий.

— Давно мы не встречались вдвоем, — весело сказал Адам и заменил марочный коньяк «Наполеоном».

— Ты что? — растерялся Децкий. — Зачем? Пусть стоит...

— Пусть течет, — сказал Адам, скручивая пробку. — Чего добру пропадать...

Может, тот марочный молдавский не уступал «Наполеону» вовсе, но такой мировой славы у него не было и вчетверо дешевле он стоил. Как легко выпилось, как сразу кровь посвежела — об этом, читатель, не рассказать, это надо лично испробовать, только тогда станет понятно, почему братья, вкусив, в один голос сказали: "Да, эликсир! Да, восьмое чудо!" Если бы еще телевизор заглох да соседи перестали шуметь в кухне, то вообще наступил бы для братьев час райских ощущений. Но гремела за стенами чужая жизнь, в окно влетал пулеметный треск облегченного мотоцикла — и забыть тот мир, хлопоты его и чувства, испытать полное спокойствие Децкому не удавалось. Адаму же, видел Децкий, было дано. И завидовал. И мечталось иметь такую же комнатку, такой же диванчик, а можно и раскладушку, читать на ней или весь вечер стоять за кульманом...

Но ведь было, подсказывала зло память, было так, еще и лучше было: не комнату — двухкомнатную дали квартиру, и действительно, кульман стоял, подрабатывал на нем вечерами, а потом бросил — чего мозги сушить, есть другой способ, золотую рыбку

словил, и Паша навещал, и Адам приходил, и бутылку распивали до часу ночи... Было, все было, имели разбитое корыто...

— Давай Пашу помянем, — сказал Адам. — Жалею о нем.

Помянули.

— Жениться не собираешься? — спросил Децкий.

— Квартиру надо получить. А так — куда ж? Не сюда ж.

— Перетерпеть можно, — в ход своим мыслям сказал Децкий. — Зато семья.

— Легко тебе говорить: перетерпеть можно, — усмехнулся Адам. — А как перетерпеть? Работать надо. А как тут вдвоем? Еще сам, один, сидишь вот так, сочиняешь под телевизор. А представь — тут же и жена. И ее книги, и ее вещи. Через неделю возненавидишь...

Может, и не хотел Адам уколоть, но уколото Децкого, глубоко уколото, в сердце отдалось. И впрямь, думал Децкий, как им друг другу жаловаться: бедный богатому не товарищ, счастливый несчастного не поймет. У Адама мир в душе, зато каморка, у него хоромы, зато срок грозит. Ну, а через год как будет, думал Децкий, когда квартиру получит? Тогда скажет: это ж все своими руками. А он, Децкий, чем? Ему что, с неба свалилось? Черту душу продал разве малая цена? Так нет, это не считается, считается, что это даром. Нет уж, нельзя чувствительность распускать. Сидит в каморке, соседи музыкой травят, может, уже психику надкололи, и спокойно ему — он работает, культуре пользу приносит. А себе? А той самой Алле, на которой жениться бы не прочь? Хорошо, если год терпеть. А вдруг три? Нет уж, думал Децкий, лучше по-нашему, надежнее и веселее.

— От тебя можно позвонить? — спросил он.

Адам вышел в прихожую и тотчас вернулся, неся телефон. Децкий набрал номер завскладом; загудело в ответ ровными мертвыми гудками, и прослушал он этих гудков не менее ста — в ушах заболело.

— Кого домогаешься? — спросил Адам.

— Петра Петровича. Дело срочное есть.

— А-а! — словно понимая, в чем дело, кивнул Адам.

— Послушай, брат, — оживился Децкий, — объясни мне хоть раз в жизни, чем занимаешься. Я, по правде сказать, плохо соображаю. Знаю — кривичское язычество. А что это такое и зачем оно, если его нет?

— Это ритуала нет, а язычество есть, — ответил Адам. — Когда говоришь «телевизор», «самолет», «философия» — его нет, а когда видишь первую травку после зимы, рыбу в чистой воде, полет птицы в небе, когда говоришь «жито», «бог», «огнь»,

"смерть" — оно есть. Оно изначально, без него сейчас умирают, но с ним все еще рождаются.

— А бог зла есть?

— Сколько угодно.

— А бог смерти?

— Пожалуйста, Знич.

— Вот и расскажи.

— С удовольствием — но выпьем.

Выпили, Децкий откинулся на жесткую подушку и стал слушать. Слушал, дивился, кивал, а краем ума вел свою мысль, про Петра Петровича — где он, крыса откормленная? Почему с работы ушел? Почему домой не приходит? Кого избегает — его, Децкого, или следователя? Или обоих? Тек рассказ, текли мысли, одним краем про Петра Петровича, а другим — про себя, о своем. Вот и хорошо, что приехал, думалось Децкому, брата повидал, и успокоился, и убедился: можно так жить — в одержании, но приятнее жить по своему — хоть и риск есть, зато к столу не прикован, не обязан терпеть. Терпение и труд все перетрут, это правильно. Но в первую очередь перетирают они здоровье и независимость.

Просидев еще час, Децкий поехал домой. Уже начинало темнеть, регулировщики все разошлись, никто его не остановил, преступного запаха не услышал, права не отнял. Децкому увиделся в этом добрый знак.

Наутро проснувшись в восьмом часу, Децкий тотчас позвонил Петру Петровичу. Квартира молчала, как и вчера. Значит, на даче, уверился Децкий; мелькнула даже мысль: не погиб ли Петька, не отправили ли его на тот свет? Но сволочь редко погибает, знал Децкий, это хорошие люди мало живут; и заманчивой догадке он не поддался. В нетерпении увидеть скрывающегося завскладом Децкий пораньше выехал на работу. Тот, конечно, на складе еще не появлялся; не пришел он и в восемь, и через полчаса. Децкий, не зная, что и думать, назначил крайним сроком ожидания девять, но и в девять Петр Петрович на заводе не обнаружился. Децкого взяло беспокойство, он не выдержал и понесся к завскладом домой.

В дверях торчала сложенная вдвое бумажка, половинка писчего листа, Децкий развернул ее и прочел размашистую запись: "Верочка, я на даче. Отпросись у мамы и приезжай. Возьми у А.Л. рыбу. Целую. П.". Децкому эти три фразы принесли полное освобождение: Петр Петрович хоть и бежал от свидания, но был жив и здоров, отдыхал в сосновом бору. Жена, по-видимому, эти дни жила при матери, Децкий знал, что та сильно

болела; А.Л. означало Анну Леонидовну из рыбного магазина, и, верно, получила какие-то деликатесы, а сама записка означала, что Петька выехал на дачу срочно, если не заехал к теще лично сказать о своем отъезде. Словом, телефонное молчание объяснилось понятным и приятным образом. "Вот и побеседуем в тишине, без свидетелей", — обрадовался Децкий и, чтобы не принесло следом Верочку, скомкал записку и сунул в карман.

До дачи было тридцать пять верст от кольца, точнее, столько было до поворота на лесную дорогу, которая вела к даче. Дачей летнее жилище Петра Петровича называлось условно; это был хутор, бывшая усадьба лесника. Петр Петрович купил ее за две с половиной тысячи и нисколько не прогадал: ближайшая деревня располагалась за километр, он жил отшельником, барином, как в имении; уж как-то он уладил эту покупку с сельсоветом, и никто из леса его не выгонял. Чтобы оградиться от случайных наездов, Петр Петрович собственной властью поставил у съезда на свою дорогу знак "Проезд запрещен". И сработало — горожане сюда не заезжали, нарушали запрет только те, кто знал его происхождение. Не обращали, правда, внимания на этот внезапно выросший знак машины местного колхоза, для которых здесь лежал ближний путь на луга, но против них Петр Петрович ничего не мог поделать, это было зло, с которым приходилось мириться.

Хоть записка и подсказывала, что завскладом не собирается в город и на работу, но мало ли что могло стрельнуть этой крысе в голову, и Децкий зорко присматривался ко всем встречным «Жигулям», боясь пропустить Петькины. Шоссе было узкое, машины в обе стороны шли густо, простор для маневра, для обгона тяжеловозов и тихоходов случался редко; Децкого эта обязательность езды в колонне выводила из себя, хотелось побыстрее домчаться до знака, свернуть в лес, пройти полтора километра бором, и увидеть хату, изгородь, Петра Петровича у изгороди, и, сказав: "Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе", врезаться в морду, чтобы с грохотом всего скелета и болью мозгов рухнул на каменные плитки дорожки.

Эта и подобные картинки приятно занимали воображение, и Децкий не удосужился присмотреться, кто едет позади. Непосредственно за ним все время тянул самосвал, а за самосвалом, когда Децкий иногда поглядывал в зеркало, виделся левый борт старой «Победы», а уже кто шел за «Победой», ему не было видно и не интересовало.

Но как раз за «Победой» следовала машина Сенькевича, она изредка выдвигалась влево, чтобы уточнить местонахождение Децкого, и опять пряталась. Сенькевич и Корбов ходили за ним с половины восьмого и сейчас испытывали удовлетворение. Правда, стоянка до девяти часов вблизи заводского паркинга была тягостной, полтора часа тянулись, как век, уже мнилось, что Децкий никуда не поедет, проведет день на работе, и

вся затея с фиксацией разъездов обернется бессмысленной тратой времени. Но в девять из проходной появился Децкий, и не просто появился, а выбежал, как выбегает наряд по сигналу тревоги. Вскоре выяснилось, что мчит он на квартиру завскладом. Зачем? Что у них там случилось? — гадал Сенькевич. Почему завскладом дома сидит? Безответные были вопросы, оставалось наблюдать и томиться. Оставив машину на улице, Децкий кинулся во двор. Он вернулся ровно через две минуты, но уже был весел, по крайней мере, спокоен. Подойдя к своим «Жигулям», он не сразу сел за руль, а достал из кармана какую-то бумажку, развернул ее, глянул, и это действие вызвало у него довольную улыбку. Бумажка издали не различалась, и было неизвестно, что это: письмо или документ? И было неизвестно: виделся ли он с завскладом или взял бумажку в условленном месте — в почтовом ящике, под придверным половичком. Но если не виделся, а скорее всего, что не виделся — лишь две минуты заняла отлучка, то зачем приезжал? Нужную бумагу было бы проще получить или отдать прямо в руки на работе. Все это было крайне непонятно.

Отсюда Децкий поехал на кольцевую дорогу и выбрался за город на стародворский тракт. Зачем? Куда? За пять километров? За двести? Но память подсказала Сенькевичу, что где-то по стародворскому шоссе расположена дача Смирнова. Значит, не за двести километров, пусть самое дальнее шестьдесят. Оставалось пожалеть, что раньше не уточнил адреса всех дач; теперь приходилось двигаться в пределах видимости Децкого.

Тут всплыло в уме и начало тяготить Сенькевича еще одно подозрение, родившееся вчера. Вечером, перед сном, обдумывая встречи минувшего дня, он связал, а лучше сказать, сами собой соединились, как болтик с гайкой, синяк завсекцией и разбитая губа Децкого. Если посек на губе еще допускалось отнести на счет, скажем, резкого торможения машины, то уж огромный фонарь на правом глазу явно был делом человеческих рук, и не каких-то там безвестных хулиганов, напавших на аккуратненького добропорядочного гражданина, а именно Децкого, частного детектива, который, вопреки утреннему разговору, свое следствие продолжал. Но если применил силу, если завсекцией оборонялся, если была драка, то не зря, не зря. Что же Децкий выбивал из завсекцией? Какие сведения? Ведь не деньги выбивал, это было ясно. И не с той же целью ехал он сейчас на дачу к завскладом. Выпытывать силой, то есть пытаться, бить, а в дурном случае — прибить? И это подозрение уже не разрешало повернуть назад. Частный детектив — это еще можно было стерпеть, но самодетельный мститель, но зубодробление — никак, никак...

На девятнадцатом километре самосвал показал левый поворот, и пришлось отстать, пропустив вперед несколько легковушек. На тридцать шестом километре Децкий

неожиданно свернул вправо, в лес, на дорогу, закрытую для проезда. Сенькевич и Корбов задумались, как поступить. Последовать за Децким на машине означало раскрыть себя. Но и стоять тут, дожидаясь его возвращения, не имело смысла. И куда он поехал? Дача ли там в лесу? Или встреча? Или заметил их машину и нарочно ушел под знак, выбирается лесом на другую дорогу? Не солоно хлебавши возвращаться в город не хотелось, затраченного бензина и времени было жаль. Сенькевич и Корбов решились и пошли по лесной дороге пешком.

Дорога нигде не разветвлялась; иногда на сырой земле виднелись свежие следы протектора. Они прошли метров двести, как их нагнал старый, трясущийся, словно в пляске святого Витта, трактор. Сенькевич тотчас проголосовал.

— Слушай, парень, — спросил он тракториста, — есть тут поблизости дачи?

— Нет, дач нету, — ответил тракторист.

— А куда эта дорога ведет?

— На луга. Тут с два километра.

— А дальше что?

— А дальше на Миховичи.

— А из Михович?

— На шоссе.

— Понятно. — кивнул Сенькевич и сказал Корбову: — Ладно, Андрюша, возвращайся в машину. Я проеду с товарищем, уточню.

— Лучше я, — предложил Корбов.

— Нет уж, лучше я. Еще в лесу не был в этом году. Хоть прогуляюсь.

Сенькевич пристроился возле тракториста, тот включил скорость, нажал педаль, трактор, как ужаленный, подскочил — поехали. И отсюда, с тряского возвышения кабины, видел Сенькевич, хоть дергало его и шатало, все тот же след протектора, особенно четко на сыром песке недавних луж. Да, словчил Децкий, обвел их вокруг пальца, и это было обидно. Но через километр пути неожиданно мелькнула в просвет стволов синяя крыша знакомых «Жигулей». Сенькевич поспешно спрыгнул и лесом, осторожно, подобрался к месту стоянки. Машина Децкого стояла у изгороди, а за изгородью был деревенский двор, но тут же по целому ряду примет Сенькевич понял, что это и есть дача завскладом. На дверях дома висел замок; ни хозяев, ни Децкого не было видно. "Где ж он? Куда мог уйти?" — подумал с досадою на свое опоздание Сенькевич. На этот помин из-за хаты появился Децкий. Вел он себя довольно странно — становился на присыпок и сквозь окна заглядывал в комнаты. Заметилась и другая странность: Децкий держал в правой руке листок. Опять пришел безответный вопрос: что это у него за листки такие? Там в бумажку

смотрел, тут смотрит — зачем? Или это план, подумал Сенькевич, может, он не был здесь раньше? Децкий же, сунув бумажку в карман, вышел из калитки, подошел к машине, сел за руль — тут Сенькевичу стало не по себе: уезжает, так зачем приезжал? — но Децкий что-то достал из ящичка, спрятал в задний карман и вылез. Теперь он медленно пошел в глубь леса, той самой дорогой, по какой проехал на луга трактор.

Относительно бумажки, в которую Децкий заглядывал и которую затем спрятал, Сенькевич заблуждался. Это не был план и не была та, снятая с квартирных дверей записка. Это была вторая записка Петра Петровича жене. Децкий увидел ее за дверной клямкой, и она содержала такое разъяснение: "Веруся, я у запруды. Вернусь к обеду". Что-то в этой записке не понравилось Децкому, он долго вертел ее в руках, смотрел на нее, но уразуметь, чем она смущает его, не смог. Он обошел двор: сарайчик и летняя кухонька были открыты; тогда Децкий сел на камень у альпинария и, разглядывая цветы, задумался, что делать: ждать ли Петра Петровича здесь или искать его на запруде. Запруда, на которой стояла старая мельница, была в пяти минутах ходьбы. Сидеть здесь до вечера, пока Петр Петрович рыбачит, казалось бессмысленным, но и брести на запруду, аукать там почему-то не хотелось. Но постепенно силою сознания Децкий убедил себя, что надо идти, что оно и к лучшему встретить завскладом там, а не тут. Даже нарисовалась идиллия: кувшинки, легкий шум водосбора, поплавок спит на воде, Петька дремлет в ленивом ожидании поклевки, вдруг слышит шаги, а еще лучше, чтобы не услышал шагов, подойти бесшумно, стать за спиной и тяжело положить на плечо руку... Децкий встал, заглянул в окна дома и увидел, к мелкой радости, следы завтрака на столе. Тихо было вокруг, не очень уютно. "Всякое возможно", — подумал Децкий и решил взять нож. Он залез в машину, достал из ящичка охотничью свою финку и засунул ее за пояс со спины...

Мельницей уже не пользовались лет пятнадцать, дорога мало-помалу зарастала. Децкий не торопился и был внимателен, чтобы избежать неожиданной — лоб в лоб — встречи с завскладом или, что вовсе было бы вредно, показать ему себя, а самому его не увидеть. Непривычная тишина безлюдья стояла в лесу (вот же сука, злобясь, думал Децкий, в заповедник превратил лес своим знаком; буду ехать назад — собью); иногда кто-то метался в ветвях над головой, Децкому казалось — белка, искал глазами рыжий пушистый хвост, но все зря. И опять становилась полная, глухая тишина, но вдруг шуршание, чей-то тревожный вскрик, ветки качнулись — и никого. Сладко пахло травами, малиной, крапивой; встречался усыпанный ягодой черничник, показывалась из-под листка перезревшая земляника — Децкий ни за одной не нагнулся; в безмолвии леса в нем будилось смутное беспокойство; без ясной причины душа сжималась ожиданием чего-то недоброго, лес стал казаться враждебным, потом померещилось, что кто-то следит

за ним сзади, потом померещилось, что следят спереди, вдруг сердце обмерло — а всего-то зацепил лбом за колкую ветку. Язычество, подумал Децкий с неприязнью к себе. Так воспитают в детстве, что страх на всю жизнь, сучок треснет — уже страшно: леший идет. Ну лес, ну тихо, мало ли что. Пусть он, крыса складская, боится.

Скоро лес начал редеть, в просветы показалась побитая зеленым мхом крыша мельницы, а затем и вся она открылась — с прорезями маленьких окон в верхних венцах, с широкими двустворчатыми дверями, одна их сторона была распахнута. На выходе из леса Децкий остановился и осмотрел кусты на запруде, отыскивая фигуру Петра Петровича. Тут проплыла в уме Децкого нелепая мысль, даже и не мысль, а предупреждение: "Поворачивай-ка, брат, оглобли в город!" И почувствовалось ему, что хорошо бы повернуть и отъехать из этого леса, но, вопреки предупреждению, Децкий ступил на лужок, отделявший мельницу от леса. Прошагав лужок, он вышел к пруду. Зеленоватая вода сливалась через осклизлую, потянутую лишайником плотину; действительно, сплошь по зеркалу желтели кувшинки; лягушки стали торопливо прыгать в реку; среди высокой травы, поближе к мельнице стояли наклонно два удилица, и некольшимо, как и воображалось, торчали из воды красные поплавки, но самого Петра Петровича Децкий не увидел. Странно, очень странно выглядела эта рыбалка, да всякое, конечно, могло быть, может, человек в лес отошел, с кем не случается? Искать завскладом на мельнице Децкий расхотел, решил: что ему там делать в старой пыли? Зерно молотить? Он стал вполоборота к реке, чтобы в поле зрения были берег, мельница и лужок, и закурил; простоял он так, не двигаясь, долго — уже и сигарета была выкурена и мяли пальцы вторую. Куда ж он поделся? — думал Децкий. Неужели удрал? Но не удирал, а, наоборот, вернулся — вдруг вышагнул из-за мельничного сруба и, увидев Децкого, отшатнулся. Децкий и не разглядел его, заметил только спину зеленой куртки, скорее движение тела. "Здорово!" — с чугунной тяжестью чувств крикнул вдогонку Децкий. Завскладом, однако, не остановился и не ответил. "Неужто в лес побежит?" — думал Децкий, огибая угол. Но никто не бежал прочь; покачивающаяся половинка дверей подсказала Децкому, где решил спрятаться его враг. Наверное, дрын возьмет или камень, подумал Децкий и призвал себя к бдительному вниманию. Переступая порог, он услышал скрип каких-то ступеней и осмотрелся: все здесь — жернова, столбы, короб, пол и потолок — было покрыто окаменевшей мучной и обычной пылью; увидел еще по правой руке приоткрытую дверь темной каморы, по левой — кучу стоймя приставленных к стене досок, а рядом лестницу на второй этаж; единственно это лестница и могла здесь скрипеть. Готовясь к возможному сопротивлению, он медленно пошел к лестнице, минул кучу досок и тут от внезапности обмер — стоял за ними человек в зеленой куртке, и он

метнулся к Децкому, и страшной силы удар в живот согнул Децкого вдвое. Он почувствовал еще и второй удар — по почкам, и боль от второго удара замутила ему сознание. Он ощущал, что его куда-то волокут, бросают на пол, связывают за спиной руки; потом, давя, ему разжали челюсти, и в рот, зажимая язык и вызвав тошнотную слюну, влез кляп. Несколько минут Децкий, омертвев от ужаса, ждал пронзительного удара ножом, боли и смерти. Но его не убивали; Децкий осмелился и открыл глаза. Он лежал на полу в камере; свет слабо втягивался сюда через узкое волоковое окно под потолком; в нескольких шагах от себя Децкий увидел нападавшего. Убийца, подумалось Децкому, он убьет. Прояснился наряд убийцы — черные брюки, зеленая куртка-болонья с поднятым капюшоном, черная косынка закрывала его лицо, но самое жуткое действие оказали на Децкого руки убийцы, одетые в черные кожаные перчатки. Убийца удовлетворенно хмыкнул и оставил Децкого одного. Спустя пять секунд тяжело заскрипела лестница — убийца поднялся наверх. Децкий огляделся, что у него связаны не только руки, но и ноги, и что лежит он не на грязном полу, а на чистой брезентовой подстилке, и что в углу стоит сумка, а из сумки торчат две головки водочных бутылок. Разбитые, верно, в кровавое месиво почки раздирала невыносимая боль, но и боль эта меркла перед той, будущей, болью, которая придет вечером, когда отгорит закат. Ему отчетливо представилось, как поступит с ним убийца — убьет, как Павла. Для того и лежал он на брезенте — останется чистым костюм; для того и назначены бутылки. Скоро ли или уже в темноте в него вольют через воронку водку, он отравится, обалдеет, уснет, его положат в его же машину, отвезут на косогор — и конец. Попал он в западню, в ловушку; сам попал — сам приехал, пришел, вошел. Открылся, умножая страдание, изъяс этой ловушки; он должен был сразу заметить, еще там, на дачном крыльце, что обе записки написаны на одном листе, который затем разорвали пополам; вторая половина привезена сюда из города. Припомнились линии обрыва обеих записок, зубцы и впадины, тут зубцы — там впадины. Все было рассчитано — его поиск, его нетерпение, его поведение, все его мысли были угаданы, прочитаны наперед.

И мгла накроет. И примет земля.

"Не хочу!" — кричали ум и тело Децкого, и он давился этим криком, и тошнота душила его. Только чудо могло его спасти, и Децкий заплакал и стал молиться о чуде своего спасения. Но откуда было прийти этому чуду? Кто спохватится о нем? Кто мог знать, где он? Никто. Ни один человек на земле. Если Ванда и вспомнит о нем в шесть часов, то терпеливо будет ждать до полночи и только в полночь начнет звонить по знакомым. А в полночь уже не будет его, уже он будет на дне оврага, в сплюсненном гробу своей машины, а убийца уже будет в постели и скажет: "Нет, я не видел его".

Но жажда жить подсказала ему надежду. Следовательно — вот кто думает о нем, вот кто должен помнить о нем, вот кто может спасти его. Но как он придет сюда? Что приведет его на затерянную мельницу, в эту глухую камору камеру его смерти. Его, Децкого, мысль, его энергия, его сигналы беды! И бросив называть имя Христа, Децкий стал называть имя Сенькевича и слал к нему в город сгустки своей боли и свою мольбу.

Сенькевич в это время наблюдал за мельницей, таясь на опушке. Что делали там, внутри старой постройки, два сослуживца, не поддавалось разумению. Вообще сама их встреча, церемония встречи была непонятна. Децкий мог сразу войти в мельницу, но не вошел, а долго стоял на берегу — зачем? Время ли ему не пришло? Ждал ли он кого именно на берегу? Нельзя было входить? Боялся? Потом неожиданно вышел из мельницы человек в черных штанах, в зеленой туристского кроя куртке, в надвинутой низко на лоб кепочке. Держась стены сруба, он прошел до угла, выглянул и сразу же побежал назад, а вслед за ним медленно пошел Децкий. Был ли это завскладом? Почему он прежде не появился? Почему, увидев Децкого, побежал? Если испугался, то почему побежал на мельницу — в ограниченное пространство, а не в лес? Но Децкий не кинулся догонять, не спешил. Что у них там, на мельнице, — разговор? Тайник? Драка? Но случись драка, кто-то старался бы выбежать, было бы заметно движение. И зачем драка? Почему на мельнице? Чего Децкий ждал — приглашения? Или он прибыл вместо кого-то — завсекцией? директора? — и внес суматоху, страх? Все это вызывало недоумение Сенькевича. Ему зажглось немедленно пойти на мельницу — увидеть, застать врасплох. И было два пути — прямо через луг и неприметно кустами вдоль берега. Но идти прямо не имело смысла — его заметили бы и — что? Спрятались бы? Разыграли удивление? Совершили насилие? Впервые Сенькевич пожалел, что не вооружен и что оставил на дороге Корбова. Но не имело смысла и давать круг — все равно войти придется вот в эту, единственную, дверь. К тому же, пока он будет пробираться олешиником, Децкий, или кто-то, или оба вместе могут покинуть мельницу. Нет, думал Сенькевич, самое верное в этой ситуации — ждать, зафиксировать, с кем выйдет Децкий. Как скоро? А должен — скоро. Что торчать там на мельнице? Какой смысл? Тайник? Не могло там быть тайника. Выяснить отношения? Но почему же в старой халупе, почему не на воздухе? И почему так долго? Предчувствие какой-то беды закрадывалось в сердце, что-то недоброе творилось на мельнице, что-то несогласуемое с нормальной логикой, с обычным порядком отношений. Но чьих отношений? Был ли тот человек в зеленой куртке завскладом Смирнов? Если да, то почему столь много таинственности — отъезд из города, лес, мельница, закрытое от всех глаз свидание? Надо идти, думал Сенькевич и не шел, не желая обнаруживать себя; такое наблюдение могло получить важность козыря. А меж тем

он физически ощущал необходимость появиться на мельнице, какой-то призыв исходил из мельницы, какой-то зов. Но чей зов, чей призыв? Менее всего эти двое на мельнице желали бы увидеть его, майора милиции. Это собственное любопытство звало его туда, подталкивал профессиональный интерес, это загадка получасовой тайной беседы призывала его к действию. Но такое действие — возникнуть на пороге и испугать, думал Сенькевич, только во вред следствию. И он решил ждать, не ограничивая свое свидание сроком, ждать, пока они, или Децкий, или завскладом, не выйдут наружу.

Очень хотелось курить, Сенькевич опустил руку в карман за сигаретами, и в это мгновение его прижал к стволу мощный удар в правую почку. "Децкий!" — почему-то подумалось Сенькевичу, он через боль обернул лицо и поразился напротив него стоял человек в зеленой куртке с поднятым капюшоном. Второй удар был нанесен в живот, и Сенькевич заметил, что его бьют широким кастетом; третий удар — уже без кастета — последовал в челюсть и лишил Сенькевича сознания.

Децкий же продолжал свою телепатическую работу. Но сознание подсказывало ему, что усилия его напрасны, что до города, до горотдела сорок километров, а там дома, камень и бетон, электрические сети, а если Сенькевич и почувствует какое-то беспокойство и даже поймет, что Децкий попал в беду, то как он узнает место? Кто подскажет ему? Единственный след — записки завскладом — лежат здесь, в кармане. Кому стрельнет в голову ехать сюда, искать его здесь, на мельнице? Никому. Никогда. Он сам обязан спасти свою жизнь.

Убийца не показывался, словно забыл о нем, и Децкий стал тихо дергать ногами в надежде разорвать или ослабить путы. Связан он был широким медицинским бинтом; эта белая повязка на ногах свидетельствовала, что ему назначено умереть, — потому убийца и связал бинтом, а не веревкой, чтобы не осталось на теле следов насилия. Но бесполезно было дергаться, Децкий быстро это сообразил. В придачу кляп отнимал последние силы: не хватало воздуха, в мозгах гудело, легкие, казалось, скоро лопнут от натуги. Спиною он ощущал свой нож, но лучше бы не было ножа; невозможность воспользоваться им усиливала муку. Он обрыскал взглядом стены камеры — вдруг торчит где-нибудь гвоздь, стоят лопата, заступ, коса; более всего мечталось увидеть косу, свалить ее и разрезать повязку. Но никакого инструмента в камере не сохранилось. Гвоздь все-таки отыскался, и не один, целый ряд гвоздей увиделся Децкому на высоте роста — дотянуться до них связанными за спиной руками было невозможно.

К Децкому пришло отчаяние. Завыть бы, но кляп не давал. Он гибнул, гибнул безмолвно, один из миллионов, он пропадал, они оставались, вся эта сволочь — Данила, Катька, Витька, убийца, — останутся жить, красть, тратить, встречаться, ездить и

порадуются, когда завтра наряд ГАИ отыщет его в груди искаверканного железа. А как хотелось жить, а как прекрасны казались картины жизни — Ванда, Сашенька с книжкой в руках, и плеск моря напротив дома Волошина в Коктебеле, и толпы людей там на песке безмятежно и сладостно загоравших, и толпы людей на городских улицах; всем, каждому живому человеку завидовала теперь его обреченная душа — и тем, кто в этот час работал на заводе, кто ехал по шоссе, кто ел дрянной суп в самой худшей столовке, просил милостыню, собирал бутылки; всё — самое никчемное дело, последняя бедность, ничтожество, тюремный барак — окрашивалось в цвета уже недостижимого счастья — и казнило, казнило, сжигало заживо.

Но кто казнит его? Кто отнимет его жизнь? Если Петька поднимался по лестнице, то кто стоял у стены? Кто бил и связывал? Почему в маске? Если Петька был в зеленой куртке, то кто второй? Витька, Данила? Где они? Почему не придут, не вынут проклятый кляп, не скажут: "Вот, Децкий, ты и попался". А он крикнет: "Пощады, пощады! У меня сын. Сжальтесь!" Но и понималось, что зря станет просить. Какая пощада! Какая жалость! Для того и завлекли на эту мельницу, чтобы убить без пощады.

Вдруг Децкий услышал шаги, встрепенулся и увидел убийцу — тот волоком тянул в камору кого-то в сером костюме — втянул, бросил рядом с Децким и, поглядев на обоих, ушел. Децкий, повернувшись к новой жертве, оцепенел следователь Сенькевич лежал возле него и также был связан, и торчал изо рта свернутый в пробку платок. Совершенно дурная радость пронзила Децкого — он не один, их двое; даже облегчение пришло — не он один обречен терпеть боль, удушье, страх, вон еще один человек терпит так же и ждет того же. Чего? Конца. Теперь уже не на кого было надеяться: единственное на свете лицо, способное спасти Децкого, само лежало в веревках. "Шерлок Холмс, мать твою... — с ненавистью подумал Децкий, понимая, как попался майор. Следил, следил — доследился!" Бешенство закипало в Децком, мог бы, были бы свободны ноги, так ударил бы следователя ногой. Талантливый, звезда розыска. Закатилась звезда, думал Децкий. Бездарность, дурак, идиот. Был обязан спасти; не спас, скотина, и сам попался. Лежит мешком. Теперь и до вечера не станут ждать, зарежут ножами безо всяких затей. Ведь он на машине, в машине шофер сидит. Это значит, возле дачи. Теперь им и выхода другого нет — зарезать и зарыть здесь, на мельнице. Пока тот шофер заволнуется, пойдет искать...

Наверху слышались тихие голоса, потом заскрипела лестница — они спускались. "Все! — подумал Децкий. — Идут убивать!" Он зажмурился, тело сжалось, сердце оледенело, ожидая ножевого удара. Убийца вошел в камору, приблизился, нагнулся; Децкий слышал его дыхание; рука убийцы коснулась кляпа и вдавила его поглубже. И

еще была минута жуткого ожидания. Потом удаляющиеся шаги, скрип дверей, стук клямки, щелк замка. Децкому стало ясно, куда они отправились — убивать шофера.

Сенькевич, когда преступник нагнулся к нему и проверял кляп, тоже ожидал, что сейчас врежется в тело нож, и удивился последовавшей отсрочке смерти. Иллюзий о готовящейся ему судьбе он не питал. Его и Децкого убьют; было странно, что тянут с убийством. Но и было понятно, почему не спешат. Закрыв их на мельнице, преступники пошли выяснять, где стоит его машина. Кто в машине? Теперь им надо отогнать от дачи машину Децкого, пусть не в Миховичи, хотя бы в лес, главное убрать ее с дороги. Они могут выйти к шоссе, и там увидят его «Москвич», Валеру и Корбова, и поспешат сюда. Дорога до шоссе и назад займет полчаса. Если в эти полчаса он не освободится, его зарежут или утопят в пруду. Или сожгут вместе с мельницей. Корбов же дисциплинирован и, веря в его опыт, будет еще какой-то срок ожидать, а потом пойдет навстречу или поедет навстречу. А куда поедет? Машины Децкого возле дачи не будет, и Корбов поедет в Миховичи. А если пойдет по дороге пешком, то все равно не выйдет к мельнице — зачем? А если догадается, выйдет, то может попасть сюда третьим. В любом случае надеяться на помощь извне не приходилось. Еще удивляло, что преступников двое. Верно, и Децкий не ожидал встретить двоих. Кто? Но сейчас не имело значения гадать — кто? Узнается, если удастся освободить руки.

Сенькевич повернулся к Децкому, оба узника встретились глазами. Затем Сенькевич повалился на живот, перекатился через связанные свои руки и оказался вплотную к Децкому. План его был таков: Децкий должен перегрызть веревку, иного пути спасения им нет. Он мысленно отдал ему приказ: "Повернись на бок". Децкий понял и повернулся. Тогда Сенькевич ткнулся кляпом в руки Децкого, и тот скрюченными пальцами зажал концы кляпа и стал тянуть. Сенькевич же отваливался на спину. Наконец набухшая тряпка вырвалась, и воздух пошел в измученную грудь. "Повернись", — сказал Сенькевич. Захватив зубами, он вытянул намокший слюной кляп Децкого.

— Перегрызи веревку, — сказал Сенькевич.

— У меня нож, — ответил Децкий. — На спине, под пиджаком.

Теперь они повернулись друг к другу спинами, и Сенькевич, вытягивая пиджак, добрался до рукоятки охотничьего ножа. Зажав в руках ножны, он отдал рукоять в руки Децкого. Исколов об острие руки, Сенькевич все же приладился пилить веревку.

Шорох ножа возвращал Децкому силы. Освободить следователя — означало спасти себя. О том, что случится позже, через час, завтра, как придется отвечать, как объясняться, что будет с ним, Децкий не думал. Главное было освободиться, спастись сейчас. Только бы успеть, думал, только бы они не вернулись, не отняли нож, не убили этим ножом.

Наконец путы ослабли, петли растянулись, и Сенькевич высвободился. Первое, что он сделал, получив волю, — отложил в сторонку два кляпа и веревки — это были вещественные улики. Подумав, Сенькевич развязывать Децкого повременил.

— Кто они? — спросил он.

— Не знаю! — искренне ответил Децкий.

— Кого ты искал здесь?

Децкий замялся. Теперь, когда минула опасность, когда он почувствовал защиту, когда так близко находившаяся смерть отступила, раскрываться не хотелось. Наоборот, хотелось, чтобы убийцы не пришли, чтобы они бежали, исчезли, чтобы их не нашли. Больше он им не попадет. Но полной уверенности в своем спасении у него не было — он связан, он на мельнице, следователя могут застрелить, счастье вновь изменит ему... Он сказал:

— Кто-то убил Пташука. Я искал — кто?

— За что убили Пташука?

— Он знал вора.

— Того, кто ходил в сберкассу?

— Да.

— За это или за хищения? — спросил Сенькевич в упор.

Вопрос был однозначный, и Децкий растерялся: любой его ответ отрицательный, утвердительный — являлся признанием причастности к хищениям, знания о них, соучастия. Децкий недоуменно пожал плечами.

Недоверчиво поглядывая на Децкого, Сенькевич обдумывал, как лучше провести задержание. Он один, преступников двое; вступать в единоборство было рискованно. Привлечь Децкого? Но Децкий — безответственное лицо, пострадавшее лицо, он может убить своего противника. Невольно. Или сознательно. Он сам — потенциальный ответчик, если подтвердится расхищение ширпотреба. Но и держать его связанным, думал Сенькевич, нельзя. Он обязан освободить Децкого, таково требование закона. Децкому не предъявлено никакого обвинения, он истец по делу, которое расследует уголовный розыск, сейчас он — жертва злого умысла, преступниками совершено покушение на его свободу, здоровье и жизнь. И что бы ни случилось позже, каковы бы ни были обвинения ему по линии ОБХСС, он в эту минуту пользуется всеми правами, и должен быть защищен, и должен получить свободу перемещения и решений — быть ему здесь, подвергать свою жизнь риску нового преступного нападения или остаться в интересах следствия. И Сенькевич медленно разрезал Децкому бинты.

...Корбов же после отъезда Сенькевича с трактористом пошел собирать землянику. И увлекся. Так складывались городские его привычки, что в лесу бывал редко: если за лето раза два выезжал на природу — это считалось хорошо, да и то не в лес выезжал, не по ягоды, не по грибы с кошелкой, а к воде, и всегда с компанией; как-то и в голову никогда не приходило, что ему, холостому молодому парню, интересно станет собирать ягоды. А сейчас случай способствовал, и Корбов вошел в азарт, совершенно необычные ощущения, помимо того что было вкусно, захватили его — запахи, звуки, игра света в стволах, прятанье ягод, россыпи их в траве, мелкий мир под ногами. Он все далее отходил от шоссе, забывшись о беге времени, о том деле, ради которого здесь оказались, о длительном отсутствии майора. Но пришел такой момент, когда внутренний страж, победив силу увлечения, заставил его взглянуть на часы — прошло восемьдесят пять минут, как он расстался с Сенькевичем. Полтора часа. Корбов мгновенно и крепко взволновался; тем сильнее, что эти полтора часа не вспоминал о Сенькевиче вовсе. Так не должно было быть, Сенькевич не мог отсутствовать столь долго без важного дела, только дело могло его задержать. Какое дело? Майор, разумеется, не мог трястись трактором в Миховичи, догнать машину было нельзя, хватило бы просто установить, что Децкий поехал в том направлении; пусть он смотрел след два километра — больше незачем, а это отняло бы минут десять. И полчаса могло занять возвращение, неспешная прогулка лесом. Итого сорок, пусть сорок пять минут. Но сверх того оставалось еще сорок пять — сорок минут. Свободных. Незанятых? Чем занятых? Полтора часа отлучки — это никак не подходило к обязанности Сенькевича. Собирал землянику? Нет, не мог собирать, прежде вернулся бы, чтобы не беспокоить его и шофера. И какие могут быть ягоды, если надо срочно же возвращаться в город и установить, где Децкий, вернулся ли он на работу, носится ли по городу, кого навещает. Какие, к черту, ягоды, если попали впросак. Нет, не стал бы Сенькевич зря тратить время, зная, что его ждут. Однако не возвращается. Или вышел на Децкого? На встречу Децкого с кем-то? Один против... скольких?

И Корбов немедленно зашагал вдоль дороги, не по самой дороге, а лесом, срезая углы на угадываемых извивах проселка. Через десять минут хода где-то неподалеку от него заурчал мотор легковушки, движение ее продолжалось полторы минуты. Да ведь это Децкого «Жигули», подумал Корбов, другие в лес не въезжали; могла, конечно, гудеть и посторонняя машина, но не верилось, что посторонняя, верилось, что именно Децкий сидит за рулем. Значит, и майор где-то тут, думал Корбов. Он прикинул сторону, в какой заглох шум мотора, и пошел туда, теперь уже настроенно: если Сенькевич следит за машиной, то открытое появление Корбова окажется во вред. И Корбов старался быть неприметным. Скоро он вышел на лесной хутор, довольно ухоженный и жилой, но без

хозяев. Укрываясь в папоротнике, он разглядывал одинокий лесной двор; перед двором проходила дорога, и Корбов думал, что удобнее всего пройти к дороге и посмотреть следы легковушки, а затем уже придерживаться их в дальнейшем поиске. Неожиданно на дороге показались люди, двое мужчин — в зеленых куртках; они деловито шли в сторону шоссе. Пропустив их, Корбов поднялся и, следя или угадывая отпечатки протектора, пошел вдоль дороги. Через несколько минут он увидел машину Децкого. Никого не чувствовалось возле нее. Корбов подобрался и дотронулся до выхлопной трубы — легкое тепло еще хранилось металлом. Выходило, что и Децкий, и Сенькевич были где-то поблизости. С кошачьей осторожностью Корбов обполз место стоянки по широкому кругу. Но никто не увиделся ему. Тогда Корбов пошел вперед той лесной, обросшей кустами дорожкой, на которой оставлены были «Жигули», и оказался на краю небольшого, примыкавшего к речке лужка; старая мельница стояла на запруде, долетал оттуда шумок водосброса. Место было дикое, красивое, безлюдное, но смутение, тревожное беспокойство вызвал в Корбове этот пейзаж. Опушкой он стал продвигаться вправо и буквально через десять шагов заметил, что к мельнице проложен кем-то — кем? — Децким? Сенькевичем? — свежий след по траве. Но едва ли через открытый обзор лужок мог идти Сенькевич. Только в самых крайних обстоятельствах. И Корбов решил обойти луг по периметру, держась лесом и кустами. Он так и сделал и вышел к реке. Мостка до запруды не было; Корбов задумал поглядеть, есть ли мостки за плотиной, и последовал к мельнице. В стене сруба, обращенной к реке, на высоте четырех метров чернел квадратный проем — бывшее окно. Странное чувство охватило Корбова при виде этой ровной дыры — что сейчас из нее выглянет Сенькевич, что он прячется здесь и ждет его. Но никто не выглянул. Тогда Корбов, повинувшись своему настроению, приставил к стене жердь и полез в проем и испытал изумление, увидев рядом с Сенькевичем Децкого.

Отправив Децкого вниз, Сенькевич поделился своими злоключениями: вот сквозь эти щели преступники высмотрели его на опушке, один из них выбрался в окно, обошел лужок, подкрался и напал.

— Тебе не встречались? — спросил Сенькевич.

— Зеленые?

— Да.

— Видел возле хутора.

— Значит, скоро придут, — сказал Сенькевич.

Они спустились вниз. Здесь Сенькевич попросил Децкого одолжить на полчаса свой пиджак, и этот пиджак надел Корбов.

— Слушайте, Децкий, — сказал затем Сенькевич. — Сейчас будет проводиться задержание. Вы должны сидеть наверху, не двигаться, не шевелиться, не говорить. Если нас будут убивать — не вмешивайтесь. Если потребуется, я сам позову вас. Понятно?

Децкий кивнул.

Пережитые ужас и страхи обессилили его. Теперь, чувствуя свою жизнь под достаточной защитой двух инспекторов, он сломился, ему хотелось лечь и заснуть. Но только отошел мертвящий страх физической гибели, как немедленно его стал обнимать страх той новой ситуации, опять же безвыходной, казалось, ситуации, которая сложится, когда убийцы вернутся и будут захвачены майором. Вот тогда, спасая свою шкуру, в пустой и глупой надежде раскаянием и полновесной правдой уменьшить кару закона, они выложат все, все, что знают и о чем смутно догадываются. И когда их спросят, почему они стремились убить Децкого, они ответят — потому что он был поставщик и производитель, получал половину дохода, обогатил всех, обогатился сам — и дадут в руки розыска и суду такие факты, против которых не возразишь. И Децкий так же горячо, как в недавнее свое одиночество, молился о явлении Сенькевича, стал молиться, чтобы убийцы одумались, бежали в город и нашли себе алиби. И пусть майор Сенькевич ищет их, пусть пытается определить, кто здесь был, кто мордовал его кастетом, связывал, загонял в рот кляп и держал на грани мучительного ожидания смерти. И желая этого, Децкий думал, что убийцы именно так и поступили — взяли его машину и понеслись в город, и делают все необходимое для своей самозащиты. Это представлялось ему наилучшим выходом для них. Ведь вернуться сюда можно лишь с одной целью убить обоих, ведь они не могут убить лишь его, Децкого, а Сенькевича оставить в живых, ведь покушение на жизнь майора, ну пусть еще не на жизнь, а только на здоровье и на свободу, уже произведено, они уже подлежат ответственности... Но кто настолько смел и настолько жесток, чтобы решиться на два убийства? Однако они не побоятся, подсказывал ему рассудок, где одно, там два, какая им разница, семь бед — один ответ, не о грехах думают — о собственной шкуре; ведь убили Павлушу, даже старушку восьмидесяти лет не постыдились ударить. Дряхлую свидетельницу убрали, а уж майора милицейского, инспектора, который розыск ведет, все ниточки в руках держит, из ниточек петлю вяжет, его никак нельзя пожалеть, просто невозможно. Нет, придут они, придут, думал Децкий, вернутся, их ничто не удержит, они уверены, что мы связаны, лежим как бревна; откуда им знать, что освободились, что пришел третий. Они вернутся, их тут же в дверях, дураков, и хватать, руки за спину — и в город, в кабинет, на допрос: кто, зачем, почему и с кем вместе? Часа не пройдет, как они все выложат, все тайны раскроют, хоть это им и невыгодно. Потому что эти люди глупы и жестоки. И если пойдут в тюрьму сами, то поведут за собой всех

остальных, всех, кого смогут повести показаниями. Это ничтожные люди, они возжелают, чтобы всем стало плохо; им будет горько и яростно, если кто-нибудь уберется, останется на воле, выйдет сухим. Тем более если уберется он, Децкий. Ведь это он вынудил их бояться, дрожать, спасать себя через уничтожение других...

Но кто второй? — задумался Децкий. — Один — Петька, Петька Смирнов, завскладом, можно сказать — бывший завскладом. Он уже — человек пропащий. Ему не выкрутиться. Если и вернется в город, то алиби себе не устроит, попросту не успеет. Любое его оправдание сегодня же будет проверено с предельной придирчивостью. Он не может создать себе алиби, думал Децкий. Для него мчаться в город — еще хуже, чем идти сюда. А из этого неминуемо следует, что если они на мельницу не вернутся, то второй должен Петьку угробить. Иначе его самого возьмут. Но если они решили вернуться, то они не думают об алиби, они думают, что у них никто не спросит алиби, для них единственный ход — идти до конца: наша гибель для них — спасение. Но если они придут, их зацапают, а когда их зацапают, то Петька Смирнов сделает добровольное признание. И каково бы ни было Петьке — а ясно, что ничего хорошего его, заводского вору и бандита, не ждет, — ему, Децкому, хоть и в меньшей мере, тоже отмерят срок с конфискацией имущества. Да и что, собственно, с того, что Петьке будет плохо? Петька все равно обречен. А вот он, Децкий, пока что не обречен, он спасся от смерти, обязан спастись от суда и тюрьмы. Обязан, обязан, думал Децкий. Господи ты мой, что же делать? И вдруг ему открылось, что в его силах изменить обстоятельства, изменить их таким образом, что они станут полезны не убийцам, не сволочи Петьке с компаньоном, с Данилою или Витькой, не майору с помощником, а ему, Децкому. Он имеет полное право, он более всех пострадал, он пережитыми страхами заслужил. Он, Децкий, с того света вышел, возле него смерть постояла, руку заносила жизнь оборвать, холодом на висок подышала, он воскрес, да, можно сказать, из мертвых восстал. Это его, Децкого, Петька Смирнов в гроб готовил, не дрогнуло сердце у складской крысы, так пусть сам поплатится, пусть напарник решит, как с Петей расстаться. Это будут их личные отношения, дело их совести — жалеть или миловать. А ему, Децкому, надо сделать самую малость: выставить в окно палку с платком и помахать, когда появятся на тропинке, чтобы издали бросилось им в глаза и стало ясно нельзя на мельницу, что-то здесь случилось, что-то чрезвычайное произошло, кто-то освободился или освободил, нет связанных, а есть опасность, засада, их видят, ждут, им грозит разоблачение. И тогда они кинутся в лес, побегут спасаться, и по железному закону всех мерзавцев обреченный завскладом получит сокрушительный удар кастетом в висок.

И приняв такое решение, Децкий стал подглядывать в щель на опушку леса, из которого должны были появиться убийцы.

Его напряженное ожидание недолго продлилось в одиночестве. Заскрипела лестница, и к нему наверх поднялся Сенькевич.

Он присел рядом на корточки и сказал:

— Ну, Юрий Иванович, пока есть свободное время, давайте поговорим.

И жесткий его взгляд объяснил Децкому, что майор видит его трезво и ни в чем не обманывается.

— Давайте, — ответил Децкий.

— Вот был у вас нож, — спросил Сенькевич. — Зачем?

— Пригодился, как видите, — пошутил Децкий.

— Значит, вы ожидали нападения?

— Да, боязно было.

— Кого же вы хотели найти?

— Смирнова, — ответил Децкий, понимая, что вблизи дачи завскладом ожидать кого-либо другого было бы нелепо.

— Вы боялись Смирнова? — уточнил Сенькевич.

— Побаивался. Пусто здесь, людей нет. Было не по себе.

— Вы договаривались о встрече?

— Нет. Я нашел его записку жене, что он здесь. Ну, и приехал.

— А где записка эта лежит? — поинтересовался Сенькевич.

— А в кармане пиджака лежит.

— Почерк точно Смирнова?

— Во всяком случае очень похож.

— Кто же второй?

— Не представляю, — искренне сказал Децкий.

— Но почему они напали на вас?

— Я не ожидал нападения. И не ожидал встретить двоих. Я был уверен, что Смирнов будет один и что наш разговор даже в худшем случае не дойдет до ссоры...

Говоря так, Децкий почувствовал рождение в душе спасительной для себя версии: на Пашу свалить. Все свалить на Павла, прозрел он. Паша вел дело, крутил, левачил, сбывал, а он, Децкий, проявил халатность, по дружбе, по слепоте старых приятельских отношений ничего не замечал, ибо верил, как себе, как брату родному, а потом, совсем в недавнее время, стал догадываться, даже и не догадываться, а замечать странности какие-то на Пашином участке, каких не должно было быть, и хотел с Пашей поговорить, и

поговорил — спросил у него: "Что-то, Паша, не все у тебя в порядке. Советую как друг — наладь порядок!" А когда вот так поговорил, то Пашу вскоре и убрали, а его, Децкого, в наказание ограбили. И вовсе решили убить, чтобы клубок не распутал.

Стоять до конца на этой версии, и никто обратного не докажет.

— Из-за чего же вам было ссориться? — спросил Сенькевич.

— Это длинная история. Как вам известно, убили моего товарища, Павла Пташука...

— Откуда вы знаете, что убили? — перебил Сенькевич.

— Есть косвенные свидетельства, что убили. Не мог погибнуть. Уверен, что убили. Хочу знать — кто. А конкретно хочу узнать, кто в вечер убийства отсутствовал дома. И вот от этого вопроса Смирнов бежит как от огня. Я не застал его вечером дома, утром он не пришел на завод, я и поехал сюда по запискам... в засаду.

— Выходит, Смирнов убил Пташука?

— Не знаю, здесь их двое.

— Понятно, — сказал Сенькевич. — А в какой связи это с хищениями?

— С какими? — спросил Децкий.

— У вас в цеху. Замочки и прочее. Ширпотреб.

— Ширпотреб вел Павел. Я не думаю, чтобы он был расхитителем. Не стал бы он мелочиться. Да и недостачи никогда не было. Недостачу ведь скрыть нельзя. Все документы были в полнейшем порядке. Нет, едва ли это возможно...

И тут Децкому стало легко и стало внятно, что так, только так и надо ему держаться впредь — верить в Пашину честность, поразиться, если докажут Пашину вину. А если крыса эта, Петька, и останется жив и начнет вспоминать, что, с кем и за сколько делалось, что, кому и когда говорилось, что и куда сбывалось, то презрительно пожимать плечами — лжет, врет, мстит за поиски убийцы и грабителя. Нечем ему доказать, одни голые слова, а словам без видимых, осязаемых доказательств веры нет. Зато вот что неопровержимо: что его, Децкого, держали с кляпом во рту, избили кастетом, что он пострадал наравне с инспектором розыска. А кого обокрали? А кто искал вора? А кто искал убийцу Паши? Кто вел частное следствие? Факты железные, тут даже Сенькевич подтвердит.

— А если и брал Пташук по мелочам, — сказал Децкий, — уже без разницы, уже не имеет значения.

И скорбно вздохнув, он попросил майора:

— Курить хочется невмоготу. Давайте закурим.

— Никак нельзя, — ответил Сенькевич. — Закурим, а дым сквозь щели — и никто не придет. Скажите, Децкий, а вам хочется, чтобы они пришли?

— А что им остается?

— Да, — согласился Сенькевич, — они вернутся. И это убеждает меня, что нам с вами еще предстоит немало разговоров.

Сенькевич спустился вниз, где Корбов, стоя возле дверей, обзирал сквозь щель окрестности.

— Тишина! — сказал Корбов. — Может, они в город смотались?

— Нет, — возразил Сенькевич, — это для них не спасение. Поищи-ка в кармане, записка там должна быть.

Корбов сунул руку в карман и достал две скомканные бумажки.

— Ну вот, улики, — усмехнулся Сенькевич, расправляя половинки листа. Если сам Смирнов писал, то хоть бы ради них должны возвратиться.

— А вдруг не сам?

— Кто б ни писал — улика. Придут.

Замолчали.

Ни звука не слышалось сверху, где сидел Децкий, и вокруг мельницы словно бы все замерло, только глухо рокотал водосброс.

— Иди-ка к окну, — сказал Сенькевич. — Вдруг они тылами вернутся.

Корбов понятиливо кивнул и отправился по указанию. Проскрипели лестница, сухие доски помоста, и вновь настала ровная тягостная тишина.

Сенькевич, став на место Корбова, поглядывал на недалекую опушку, откуда могли появиться преступники, а мысли его текли сами собой, и мысли эти были угрюмые. Он находился в засаде, и ему сейчас припоминались многие другие ожидания, когда так же медленно тянулось время, а неизвестность и ответственность, связанные с задержанием, отзывались таким же глубоким волнением. И вставали в памяти люди, которых приходилось задерживать: это всегда были разные люди — различной силы, храбрости, ума, темперамента, но всех их роднила непонятная Сенькевичу способность быстро и бездумно ударом ножа, дубины, камня сокрушить чужую жизнь и судьбу.

Еще он сердился на себя, что попал впросак, что остался в живых не по своему умению, а случайно, в силу просчета преступников или какого-то их хитрого расчета, который случайно не исполнился, и Сенькевичу хотелось провести задержание умно, с пользой, которая компенсировала бы недавний промах. Почему их двое, еще думал Сенькевич. Что кроется за этими действиями парой? Не супружеская ведь пара. Не с

женой Смирнов выступает. Двое мужчин — Корбов приметил. И чем Децкий им навредил? Зачем убийство? Только ли из-за алиби на вечер смерти Пташука? Но и сам Децкий не казался чистым. И уж совсем неприятно выглядели его грубые намеки, что вся вина за хищения окажется на Пташуке, на мертвом — который не может защититься и с которого, мол, не удастся спросить. Но если Децкий настроен защищаться за ширпотреб, то зачем риск убийства Смирнову? Что он и еще кто-то этим выигрывают? Или Децкий и впрямь решил исполнить роль мстителя? Много, много сходилось загадок, которые нельзя было разрешить умозрительно. Сберкнижка, смерть Павла Пташука, нападение на Децкого — все как-то непонятно стыковалось, и все имело разные мотивы. Только какое бы ни готовилось или осуществилось преступление, думал Сенькевич, всегда побуждениями ему служат жадность, страх, ничтожество сердца, злоба или все вкуче. Однако всегда в разных вариантах и комбинациях, продиктованных обстоятельствами и циничным расчетом. Какие же здесь сопряжения? Сберкнижка — из жадности, Пташук — из страха, Децкий — из злобы или тоже со страха. Страх чего? Чего они боятся со стороны Децкого?

Красивое все-таки место облюбовал себе этот завскладом, подумал Сенькевич. Очень красивое. Лес, луг, чистая речка, безлюдье, все, как в прошлом веке, прямо имение свое. Тем, верно, и тешился, что у него лучше, чем у прочих, что он умеет жить, а прочие теснятся, что он барином сидит, хуторянином, кулаком. Из полутьмы старой мельницы мир, открывавшийся сквозь щели, казался прекрасным, и Сенькевичу стало особенно неприятно, противно, что среди этой красоты природы сейчас ходят два враждебных жизни человека; его чувство справедливости и добра не хотело примириться с их жестокостью, и в глубине души он хотел, чтобы они не пришли, чтобы убоились крайности зла, не смогли быть убийцами, самовольными носителями смерти, тварями того света, чуждыми миру людей. Но это была боль всегдашнего желанья не иметь дела с душевно мертвыми, которых ничто не в силах пронять, ничьи и никакие мольбы, только страх собственной гибели. Лишь в раздавливающих тисках полного поражения, под гнетом неопровержимых улик, пред видением мрачного своего исхода будилась в них совесть, да и то не совесть, а жалость к себе, и они каялись ради пощады, вымаливали милость, готовы были на любую работу, на муки пожизненного заключения, лишь бы жить, жить...

Вдруг, ломая его чувствования, послышался в лесочке шум заведенного мотора. "Неужели уедут?" — с недоверием и с некоею радостью подумал Сенькевич, но оправдались худшие предположения: на лужок выехали серые «Жигули» и напрямик направились к мельнице. Сенькевич кликнул Корбова, и оба они заторопились в камору

исполнять свой план. Корбов лег на живот, лицом в пол, и сцепил за спиной руки. Обозначая повязку, Сенькевич обернул ему ноги и руки бинтом. Сам же он лег, как был брошен, — на спину. Децкий же наверху уселся возле проема, чтобы в случае следовательской неудачи — а думалось, что следователям не повезет, что их могут застрелить, и даже хотелось этого, — чтобы при таком исходе задержания выпрыгнуть в окно, скрыться в олешнике и бежать.

Машина подкатила вплотную к мельнице, заглох мотор, через считанные мгновения двери распахнулись и преступники вошли внутрь. Сенькевич узнал в зеленом завскладом Смирнова, второй же в поднятом капюшоне оставался ему неизвестен. Завскладом подошел к камере, кинул на узников короткий взгляд и отошел. Было слышно, как приятель сказал ему: "Давай, давай!" Сам же он неподвижно стоял у входных дверей. Завскладом тут же вымело за порог, он появился через минуту с канистрой и по знаку второго стал плескать бензином на стены, приближаясь к камере. Противно и страшно запахло бензином.

Сенькевича била дрожь ненависти. За пятнадцать лет работы в розыске он видел разных негодяев, но такое зверье еще не встречалось. На мгновение ему открылась жуть той смерти, на которую их хотели обречь. Мельница в дебрях леса, людей вокруг никого, а если и случится человек — чем тушить, хоть и река возле, руками черпать? И зачем тушить, кому придет на ум, что внутри двое связанных людей. Сухое же дерево вспыхнет, как спичка, и сгорит дотла; полчаса, час — и пепелище, никто и причин пожара не станет искать постройка брошена, это просто дрова. Он решил ждать до последнего мгновения, до того, как повернут выходить.

Тут, однако, случилась совершенная неожиданность. Когда завскладом поднес канистру к камере, дружок прыгнул к нему и свалил ударом кастета. Затем он вытащил поясной ремень завскладом, связал ему руки и бросил напарника в камору. Сенькевич, поразившись, узнал коллекционера.

— Кляпик таки выплюнули, товарищ майор! — сказал коллекционер.

Постояв, посмотрев на три свои жертвы, он спросил:

— Децкий, ты жив?

Корбов передернул плечами.

— Сам виноват, — сказал коллекционер. — Уговаривал же тебя не шуршать. А ты — денежки, Паша, старушка...

— Значит, это вы в сберкассе ходили? — спросил Сенькевич.

— Узнаю настоящего следователя, — сказал коллекционер. — Все тайны волнуют. Скрывать не стану — я. Катя рассчитала, подсказала, что можно, что вот этот, — глянул на Корбова, — легче в прорубь прыгнет, чем в милицию, ползавода обокрал...

Децкий наверху, слыша эти слова, зашелся от ненависти и ужаса.

— Так вы и Павла Пташука? — спрашивал Сенькевич.

— Нет, Павла не я. Катя ездила к Павлику. Я сидел у телефона, отвечал, что купается. А сейчас она сидит, отвечает, что я обед готовлю.

— А старушку за что?

— Случайно. Испугалась.

— А приятеля за что?

— Надоел. Я его со вчерашнего вечера опекаю. Катя привлекла, чтобы Децкого вытянуть как-нибудь за город.

Вернувшись в сознание, завскладом прозрел, что он предан, связан и сейчас чиркнет спичка, вспыхнет бензин, он заживо сгорит и превратится в уголь; он мгновенно обезумел, волосы его вздыбились, лицо исказилось судорогой; качаясь по брезенту, напрягаясь разорвать ремень, он в ужасе кричал недавнему своему напарнику: "Не хочу! Гад, гад! Развяжи меня!"

Слушая эти отчаянные и напрасные вопли, Децкий радостно и презрительно улыбался. Что, страшно, крыса гремучая, отмечал он с удовлетворением. А мне как было? Что мне, гад, готовил! А я не кричал, не верещал поросенком. Жалко себя, жутко — это хорошо, это по заслугам. Не рой другому яму — сам в нее попадешь. Вот и угодил. Помучайся, дрянь, потрясись, узнай, каково видеть свою могилу, слышать смерть, напрасно плакать, глядеть в пустые глаза и взывать о пощаде, взывать тщетно. Только лучше бы тебе, Петя, подумал Децкий, умереть, сдохнуть прямо сейчас от разрыва сердца. И тюрьмы избежишь, и пользу сделаешь — тогда, тогда пусть хоть сто следователей на завод приходят.

— Но чем же, если не секрет, — спрашивал Сенькевич, — вам Пташук досадил?

— Конечно, секрет, — отвечал коллекционер. — Но уж так и быть... Угораздило его морду высунуть в окно, когда в поезде вот к этому ослу ехал. Воздуха свежего захотелось, а я за кассами прятался. Он заметил. Хорошо, что пьяный был, не сообразил. А когда этот дурак следствие начал, вынюхивать пошел, Пташуку и припомнилось. Он Катьке позвонил — где меня встретила...

Децкого замутило; выплыл со дна души грех роковой ошибки и предстал в тяжести неисправимых последствий: не бросил бы он в тот вечер трубку, не рывкнул бы, что шарики не вертятся из-за водки, проявил бы самое малое терпение, необходимый

попросту интерес, и Паша остался бы жив, и отношения с Катькой, с коллекционером, с инспектором сложились бы совсем по-иному. Катьку надо убить, подумал Децкий с жестокой решимостью. Но тут же рефлекс самосохранения разбил эту решимость. Нет, не время мстить Катьке, понял Децкий. А надо срочно ей позвонить и сказать: "Катюша, любовник твой схвачен, спасай шкуру, топи дружка, или он тебя утопит. Он все рассказал, все без утайки, скотина тщеславная". Прямо к ней и поеду, решил Децкий. Под стражу сейчас не возьмут, права не имеют, оснований нет. Мало ли что убийцы натрепали. Он, Децкий, их и раскрыл, милицию на них вывел. Выкручусь, думал Децкий, не поддамся.

— Неужели вы всех сожжете? — продолжал свои вопросы Сенькевич.

— А что делать? Децкий заслужил, вы сами пришли, этот — свидетель. Что же мне вас, отпустить?

— А совесть не замучает?

— Переживу!

Коллекционер поднял канистру, и тогда Сенькевич взвился и со всею ненавистью ударил его в челюсть.

Через минуту коллекционер и завскладом были вынесены и положены вдали от мельницы на пахучую траву нагретого луга. Корбов сел при Децком в машину, и они поехали на шоссе вслед за милицейским «Москвичом».

Отъезжая, Децкий глянул в зеркальце на Сенькевича и на тех, лежавших на траве. Детское упоение жизнью охватило его, просились счастливые слезы; небо, лес, воздух были озарены светом воли, ярким светом Эдема, словно только что были созданы для радостей всего живого на земле, и он сам чувствовал себя вышедшим из мрака, из подземной черноты в этот светлый покой. "Жив! Жив! — говорил себе Децкий. — Выкручусь! Все отвергну, ни в чем не признаюсь. Выкручусь".

А Сенькевич устало сидел вблизи двух преступников. Душа его ныла, и мысли его были тяжелы. Он думал о том, что прошел по соломинке над могилой, что получит взыскание за неоправданный риск, что никогда не расскажет о пережитых минутах жене, что потребуются еще много усилий, чтобы доказать все преступления этих озверевших людей. Преступники лежали молча, закрыв глаза; завскладом плакал, коллекционер в ход своим мыслям гонял желваки. Сенькевич посмотрел вверх: там по лазури в извечной чистоте плыли белые, как детские души, облака; яркая их белизна завораживала, щемила сердце, манила в далекое беззаботное хождение по земле среди людей, не знающих злобы. Но тишина дней не была уделом Сенькевича, и думы его быстро вернулись на этот затерянный в старом лесу лужок, к бездушным этим людям, к заботам своего изнурительного и любимого ремесла.